

СЕРГЕЙ ГУСЬКОВ

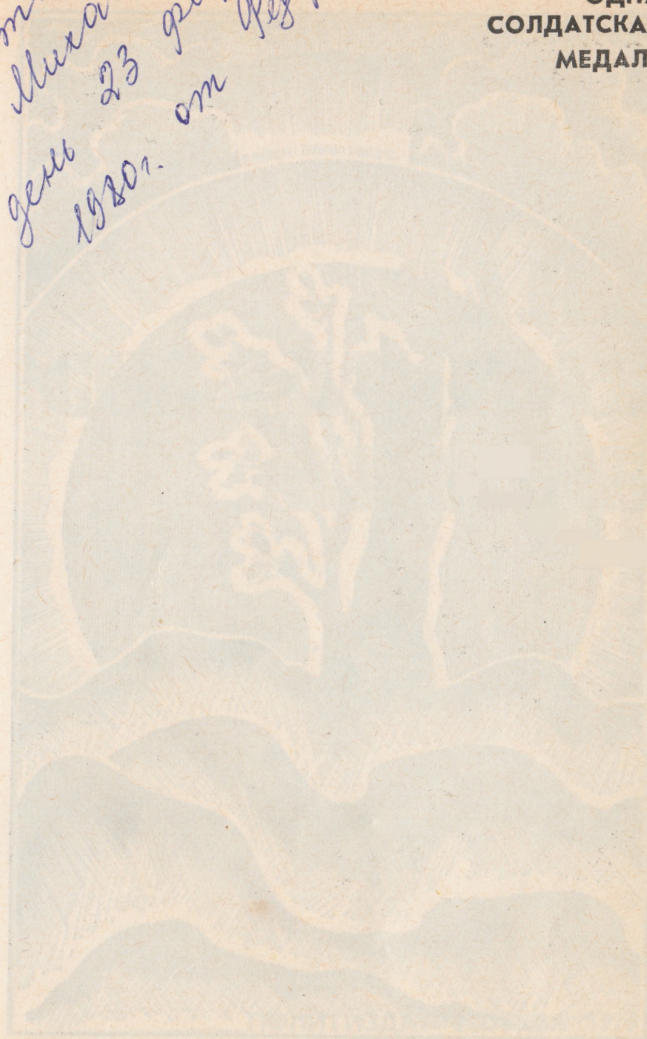
ОДНА СОЛДАТСКАЯ МЕДАЛЬ

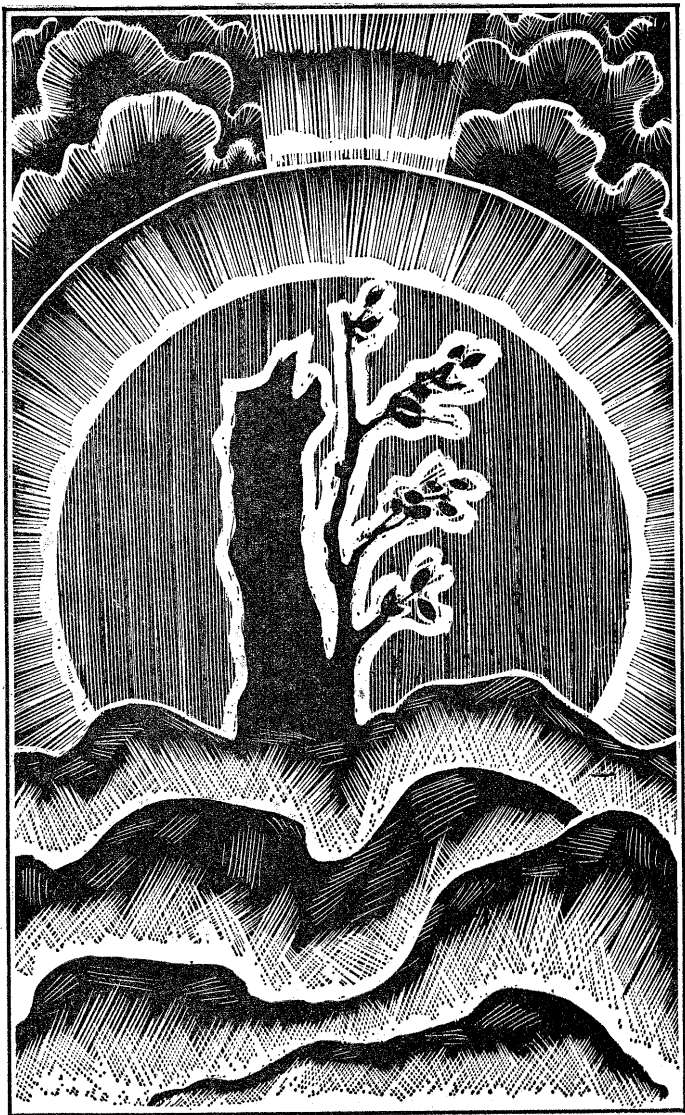


Виктору
Михайловичу
в день 23 февраля
1980г. от Федоровых.

Сергей Гуськов

ОДНА
СОЛДАТСКАЯ
МЕДАЛЬ





СЕРГЕЙ ГУСЬКОВ

**ОДНА
СОЛДАТСКАЯ
МЕДАЛЬ**

ПОЛИТИЗДАТ • МОСКВА • 1975

Гуськов С. В.

Г96 Одна солдатская медаль. М., Политиздат, 1975.

215 с. с ил.

В маленьком украинском городке Бобровница на Черниговщине в фашистской комендатуре активно действовали комсомольцы-переводчики: они спасали советских людей от верной гибели, срывали многие мероприятия оккупантов, выхаживали раненых советских бойцов. Но, главное, их помощь была неоценима для двух крупных партизанских отрядов, действовавших в этом районе, — имени Щорса и «За Родину»: подпольщики заранее предупреждали народных мстителей о готовящихся против них карательных экспедициях, сообщали данные о сосредоточении гитлеровских войск, о мероприятиях, намеченных фашистами.

О том, как жили и боролись бобровницкие подпольщики, руководимые коммунистами, и рассказывает книга писателя С. В. Гуськова «Одна солдатская медаль». Эта повесть — о мужестве советских людей, их верности Родине и партии.

Г $\frac{11302-268}{079(02)-75}$ 275-75

9(С)277

ЛЕГЕНДЫ И ВРЕМЯ

(Вместо предисловия)

О партизанах Черниговщины написано немало. Но в райцентре Бобровица, что на полпути от Нежина к Киеву, их знают не только по книгам, а и в лицо — как соседей и родственников, друзей и соратников. Район был в зоне активных действий крупных партизанских отрядов — имени Николая Щорса и «За Родину». В центре Бобровицы, на высоком холме, создан, как и в тысячах других селений, мемориал в честь земляков, павших на войне с фашизмом. В лесу, у села Мочалище, на партизанском кладбище, — еще один: в честь народных мстителей. А в селе Пески открыт и партизанский музей.

Время, превращая тайное в явное, все, что тут в войну произошло, уже расставило по местам и в изустной народной хронике по заслугам воздало каждому. Но об одной истории военных лет здесь и поныне рассказывают не только были, а и легенды.

Глубокой осенью сорок первого года жители



Бобровицы заприметили малорослого паренька в рваной шинели до пят, в опорках, в старой, спадающей на лоб фуражке. Да и как было его не приметить? Явился оборвыш неведомо откуда и... прямым в фашистский «собачник» — так окрестили местные жители центр села, когда оккупанты заняли его под жилье и учреждения «новой власти».

Добром или без крайней надобности люди сюда не заглядывали. А этот оборвыш — сразу в «собачник»! И не к какой-нибудь мелкой сошке, а к самому главному — зондерфюреру Вальтеру Бибраху.

Бибрах, бритоголовый толстый астматик лет пятидесяти, с красным лицом, с диковинной в тех местах толстой сигарой во рту и хриплым, лающим голосом, командовал созданной им в Бобровице «Крайсландс-виртшафтскомендатур» — заведением, если судить по вывеске, сугубо сельскохозяйственным. Немецких прислужников Бибраха так и прозвали — «картофельные офицеры»: они, разъезжая по селам, отбирали у населения картофель, хлеб, птицу, молоко. Но Бибрах, старейший нацист в «собачнике», явно держал в своих руках и полицию, и управу, и старост, всюду насаждал гитлеровский «новый порядок», от которого будто и сама земля закрутилась в обратную сторону, возвратив давно забытое и отброшенное — помещицу Ризову, кулака Зазимко и злобного выкорымыша петлюровцев Федора Шаповала. Всех предателей пригрел, определил к должностям матерый фашист Бибрах.

И вдруг он, как добрый папаша, позвал пришлого оборвыша обедать, одел, вручил пистолет, а потом посадил напротив себя в кабинете — старшим переводчиком. Только и дознались в местечке, что зовут пришельца Николаем Ремовым, он сын священника, а родом — москвич.

Почти два года служил у Бибраха Ремов, примелькался жителям, а потом столь же внезапно, как появился, исчез. О нем бы, возможно, и разговора особого не завели. Добром немецких прислужников не поминают, а явного лиха за Ремовым жители не помнили — только ходил он тенью за Бибрахом и переводил на русский его речи. Но вышло так, что, стоило скрыться Ремову, как ворвались в Бобровицу на крытых машинах жандармы и гестаповцы, а из хаты в хату понес-

лось: «За Колькой они, за переводчиком! А он-то, ска-
зывают, у партизан! И не один! Всех переводчиц от
Бибраха увел! Опоздали фашисты!»

С тех дней и пошли о Кольке-переводчике легенды.
При фашистах — как о Ремове, поповском сыночке, а
после их изгнания — как о советском офицере Печен-
кине. Кто говорил, что Колька-переводчик был подо-
слан к Бибраxu прямо Москвой, кто — партизанами.
На одном сходилась молва: парень оказался не про-
мах.

Впрочем, не только он. Жители узнали, что восемь
из девяти переводчиков, работавших в фашистском
«собачнике», личный шофер кичливого Бибраха и дру-
гие смельчаки оказались заодно с Николаем и... с пар-
тизанами! Без малого два года были они глазами и
ушами народных мстителей, добывали оружие, рас-
крывали тайные планы врагов.

Не такие уж пространные и непролазные леса в
округе Бобровицы. Фашисты их не раз прочесывали
начисто, собирая до пятидесяти тысяч карателей — с
танками, артиллерией и самолетами. А партизаны вся-
кий раз ускользали, оставляя врагу опустевшие сто-
янки. И говорили спасибо бобровицким подпольщи-
кам.

Время шло, и открывались все новые дела подполь-
щиков. Отыскались, откликнулись люди — а их мно-
жество! — которых Николай и его друзья спасли от
фашистских тюрем, а значит, от верной гибели или от
угона в Германию. Обнаружилось, что и тайный гос-
питаль, созданный врачами местной больницы для со-
ветских бойцов и офицеров, не продержался бы без
подпольщиков. Они не только помогали врачам и се-
страм укрывать от фашистов десятки раненых, но и
ухитрялись снабжать их продовольствием, медикамен-
тами, а после выздоровления переправлять к парти-
занам.

Вспомнилось людям, что и листовки с советскими
сводками разлетались по местечку из фашистской ко-
мендатуры: пишущих машинок в Бобровице больше не
водилось. Узнали все о том, как ловко были сначала
отстранены от власти, а потом уничтожены подполь-
щиками помещица Ризова и петлюровец Шаповал. И о
том, что, конечно, не сами ускакали однажды ночью в

лес с фашистской конюшни десятки жеребцов, собранных Бибрахом со всей округи и откормленных в дар вермахту, — их из-под носа полиции и жандармов увели партизаны с помощью тех же подпольщиков.

Всего, что сохранила людская молва о делах Николая Печенкина и его друзей, наверно, не пересказать. А мне, возможно, и узнать о ней не довелось бы, не столкни судьба вновь с самим Николаем Печенкиным. Да, именно вновь. И об этом стоит рассказать...



Как-то, в одну из побывок в родных краях, я зашел пообедать в ресторан при новой гостинице, способной украсить город и покрупнее нашей Коломны. Но удивляться тому не приходилось. Тут, на берегу Коломенки, под Маринкиной башней древнего кремля, создали первую в стране искусственную конькобежную дорожку, чем привлекли отовсюду так много именитых спортсменов, что старый горкомхозовский «отель» со скрипучей лестницей стал тесен и непригож. Тогда в ударном порядке воздвигли из стекла, бетона и пластика эту гостиницу в пять этажей — с лифтами, холлами, уютными номерами, похожую издали на аквариум: за стеклянным фасадом день-деньской сновали пестро одетые спортсмены.

Они в тот обеденный час прямо со стадиона захватили и ресторан, хотя, казалось, совсем не для трапезы, а чтобы вновь состязаться друг с другом — теперь уже в юной стати своей, нарядности и остроумии.

Грустноватая моя несхожесть с ними в годах и облики, наверно, и подтолкнула мой взгляд к мужчине средних лет, сидевшему неподалеку. Невысокий, крупноголовый, с институтским «поплавком» на лацкане пиджака, он рассеянно вертел в руках нож, позволяя свободно себя разглядывать, но потом так внезапно и столь нацеленно посмотрел на меня, словно собрался отчитать за это разглядывание. Однако он улыбнулся! Причем так знакомо и даже по-свойски, что меня сразу подняло с места и потянуло к нему:

— Разрешите прикурить?

— У тебя же свои спички в руках! — Не сводя с

меня круглых и ясных глаз, мужчина рассмеялся и вдруг назвал меня по имени: — Прикурувай... Я давно за тобой наблюдаю. Даже твой дружеский шарж успел припомнить.

— Дружеский шарж?!

— Ну да! Спасибо маме: мой школьный блокнотик сберегла. А в нем твоя фамилия увековечена. С пометкой: «Пишет стихи». Правильно? Я, как член комитета, в школьную редколлегию тебя завлек, а ты отомстил мне дружеским шаржем:

На сцене он — Терентий Бублик.
Баян с гармошкой постиг...
Мы скажем, если все округлим:
Он ростом мал, душой велик...

— Признаешь?

— Печенкин?! Коля?!

— Точно!

Мы узнали друг друга через тридцать с хвостиком лет. Мне помог, разумеется, не стишок, я не помнил его и забыл, что Терентий Бублик — персонаж из «Платона Кречета» Корнейчука, а Николай играл его на школьной сцене. Даже внешность Печенкина мне, пожалуй, мало что подсказала: он очень изменился с тех пор.

Но осталось же все-таки в нем что-то не стертое годами?! Конечно, осталось! Ведь припомнилась не просто фамилия. Жило в памяти давнее впечатление от него, как остаются и живут в нас пусть безымянные, но неповторимые мелодии.

Постепенно, расспросив обо всем самого Николая, я, кажется, разгадал, в чем была его непохожесть на других, которую я конечно же улавливал, но не осмысливал в юности.

И мне теперь очень ясно представляется то далекое утро, когда, только встав с постели, шестилетний Колюнька удивленно пялит глаза на отца, протянувшего к нему с улицы через распахнутое окно большие, с неотмытой краской, ладони:

— Ко мне, Николка! Скорей сюда! Я тебе мороженку куплю!

Отец еще с вечера пришел выпивши, а наутро, не

найдя дома жены и денег «на опохмелку», разбудил шестилетнего сына и стал слезно просить:

— Пойдем! Ты только малость поиграешь на гармошке...

Сынишка любил отца. Слыл Алексей Иванович знатным маляром. Красил людям полы, крыши, наличники, а на заводе, где работал сызмала,— паровозы. Пока жили в деревне, Николай бегал встречать отца к рабочему поезду, а позднее, увидев на подъездных путях новехонькие, свежим лаком сверкающие паровозы, и вовсе стал его боготворить. Отцу обязан был Николай своими гармошками, сперва маленькой с тремя басами и восемью ладами, а позже «полувенкой» — уже со множеством «кнопочек». С ней парнишка в то злополучное утро и расхаживал по голутвинскому перрону, наигрывая что-то жалостливое, пока Алексей Иванович протягивал кенку к пассажирам с дальних поездов:

— Подайте на бедность...

Мать нашла их в вокзальном буфете, когда отец был уже не в силах налить новую стопку, а Николая знобило от мороженого. Этот «концерт» обошелся мальчику воспалением легких, отцу безработицей — уволили за прогул, а всей семье — бесславным возвращением в деревню.

Не то чтобы отец напропалую пил горькую. Просто попал тогда в плохую компанию. Впоследствии, восстановленный на прежней работе, он с рюмкой знался только по праздникам. Но в их деревне еще хватало и пьянства, и драк. Мать Николая от всех неприятностей спасалась... в церкви. Приучила к тому и сына. Раньше, чем букварь и таблицу умножения, узнал Николай духовные книги и молитвы, пел на клиросе и собирал подающие в «церковную кружку». Так что не легко было ему, девятилетнему парнишке, самому принимать решение, когда в дом пришла учительница и сказала матери:

— Не ходи ваш Коля в церковь, мы б его как отличника в пионеры приняли, на районный слет послали.

А мать в ответ:

— Приневоливать к церкви не стану, отговаривать — тем более. Пусть сам...

И только с того дня, когда в большом городском зале, где гремела музыка, адели знамена и галстуки, где под туш вручили Николаю роскошную премию: синий пионерский костюм из сатина и балалайку, зажил Николай не просто в полном ладу с новой жизнью, но и с постоянным желанием ее украшать.

В своем Лысцеве создаст он октябрятские звездочки, футбольную команду, шумовой оркестр. Будет давать концерты в деревне и в пионерлагерях. Потом озадачит мать, заявив, что мечтает учиться дальше не в сельской школе и не в любой городской, а в единственной на всю Коломну образцовой.

— Что ж ты за семь верст в эту школу будешь ходить?

— Буду, мама!

— Койку снять тебе в городе?.. Мал ты еще по чужим людям скитаться.

— Ничего!

Так, с двенадцати лет Николай зажил почти взрослому. То снимал койку в городе, когда родители могли заплатить, то хаживал изо дня в день в свое Лысцево и обратно, чтобы все-таки окончить — одним из первых в селе! — десятилетку...

Повстречав Печенкина в ресторане, я ничего этого о нем еще не знал. Николая я помнил мальчишкой с баяном: сидя на школьной сцене, он со стула не доставал ногами до пола — но как играл! Всем на удивление! Вспомнил я и битком набитый ребятами класс с заиндевелыми окнами, где меня принимали в комсомол, а Печенкин, будучи двумя годами старше и уже членом комитета, о чем-то меня с пристрастием спрашивал. Очень ясные и открытые были у него в тот день глаза, они словно требовали от всех такой же ясности.

Может, тем, что был с собою и со всем лучшим в ладу, мне Печенкин в память и врезался. А иначе говоря — большой душевной чистотой, озаренностью. Пусть приметы эти слишком общи и присущи, наверно, не одному Николаю, а всему его поколению, устремленному от векового невежества к свету, от руин старого мира — к желанному будущему. Но Николаю, чтобы успеть за жизнью и временем, пришлось

тогда преодолеть гораздо больше преград, чем любому из нас, потратить больше сил, старания, талантов.

Но за общим обедом в гостинице я об этом еще не думал. Там, наводя мосты через пережитое, я успел только справиться у Николая о его здоровье, а он, вдруг поскучев, ответил нехотя:

— Здоровье? Что ж... Гестапо о нем позаботилось.
— Гестапо?!

...Нас властно подхватила война и ночь напролет водила по тропам его лихой солдатской судьбы.

Когда я вновь зашел к Николаю, Оля, его дочь, студентка пединститута, глуховато сказала:

— А папа в больнице... Была ужасная ночь!

Оказалось, что подобные ночи и раньше обрушивались на ее отца, но тогда Оля была поменьше и не просыпалась. Отцу помогала мать. А тут Оля пробудилась первой, услышав громкий крик отца:

— Ре-е-емов!!!

Щелкнув выключателем, она увидела, что отец, сбросив во сне одеяло, поджался так, будто его с силой пнули в живот, а потом дернулся, чтобы снова крикнуть:

— Ре-е-емов!!!

Теперь — от другого удара: в голову. Оля тронула его за плечо, отец вскочил, попробовал улыбнуться:

— Извини, что разбудил. Поддай папиросу. Я на крылечке постою, а ты спи. Все просто... Пора мне снова на ремонт — в больницу. Надеюсь, не откажут в койке.

Место ему в больнице, конечно, нашли. Разрешили, как и прежде, взять в палату толстый, светло-желтый портфель: врачи, как и Ольга, знали, что такое для отца сложенные в портфеле бумаги.

Всего в пяти километрах от города деревня Лысцево — родина Николая. В Коломне — трижды орденосный завод, где его отец работал. В Коломне и старая двухэтажная школа — ее Печенкин окончил перед войной. И — новая, где он уже четверть века преподает немецкий. В местном отделении общества «Знание» Николай — секретарь секции. В Доме учителя редкий праздничный вечер обходится без его баяна. В этом городе они с женой справили серебря-

ную свадьбу, вырастили Ольгу, единственную дочь, в которой оба — ей ли не знать! — души не чают! Короче говоря, тут, в Коломне, все полсотни лет Николая Печенкина. Все — кроме тех, что он отдал войне!

Оля бежала в институт и думала: в нынешней жизни мало что выводит отца из себя. Ну, поворчит, встречаясь с беспорядками. Ну, устанет после уроков. Не будь тех, военных, годов, он, способный, начитанный, умеющий располагать к себе людей, жил бы так же певуче и весело, как играет, когда в настроении, на баяне. Но все, что должно бы, казалось, давно остаться где-то там, далеко от Коломны, или вообще кануть в небытие, — все это, военное, неотвязно с ним. С ним и друзья тех лет. И враги. И гордость за пережитое. И неизжитая боль, которую отец таит в себе до тех пор, пока от внезапной дрожи не выпадет из рук самописки, и даже на машинке, приобретенной именно для таких случаев, стучать станет не в состоянии. Вот тогда отец и говорит:

— Что ж... Все просто... Пора в больницу — к фронтовикам.

Уходит вроде бы от военных лет, а разобраться, к ним возвращается.

Но в последний раз отец был так плох, что даже не положил в портфель заветную папку с документами и старыми письмами. Пришлось напомнить:

— А «тайну» забыл? Возьми, все одно затребуешь.

— Конечно... Спасибо, Ольгушка.

Эту толстую рыжую папку Ольга впервые обнаружила еще в ту пору, когда любила, сидя на полу, доставать из шкафа книги и что-то из них «строить». Отец обычно ей не мешал. Но когда Оля за рядами книг нашла однажды самый крупный «кирпич», отец встревожился и поднял дочку на руки.

— Ты больше не тронешь эту папку — так? — спросил, самым тоном диктуя ответ. — Не трогай! Это — тайна! Военная тайна!

В тот ли раз или в другой — из-за рыжей папки тревог случалось немало, — но даже мама обиделась на отца:

— Я тебе друг или нет? — спросила как-то. — Что в папке?

Отец ей, видно, все рассказал, потому что вскоре мама положила папку не в шкаф, а на шкаф, куда дочь не добиралась.

Могло стать, Оля про эту папку и позабыла бы. Отец, не исключено, потому и прятал папку, а с ней и лихую свою судьбину, что не хотел омрачать детский мир дочери. Возможно, так и не сказал бы ничего Ольге, не будь памятного для всех Печенкиных дня встречи Николая с секретарем горкома партии.

Отцу тогда нездоровилось. Да и устал он — принял выпускные экзамены по-немецкому.

Ольга проводила одного, очень усталого человека, а встретила час спустя совершенно с другим: отцовские глаза сияли.

— Ппуфф!.. — Он снял галстук, раскинув руки, сел на диван. — Думал, что дела больше нет никому до бывшего Кольки-переводчика. А люди помнят добро! Пишут из Киева, из радиокомитета. Читай вслух, дочка!

И Ольга прочла:

«Уважаемые товарищи! Нам удалось установить, что в вашем городе работает директором одной из школ бывший подпольщик и разведчик, замечательный друг украинских партизан Николай Печенкин. Убедительно просим помочь нам разыскать Николая и сообщить его адрес».

Отцу, конечно, ничего не открыла бы подпись под этим служебным письмом, не окажись в конверте еще и личного — от руки:

«Уважаемый Коля! Простите, что называю Вас только по имени. Я ведь никогда не знала Вашего отчества. А меня Вы могли и забыть: я в войну была еще вовсе девчонкой. Но Вас помню отлично... Напрягите же память и Вы: в Ярославке был зоотехник Товстенко Леонид Филиппович. Вы дважды выручали его от фашистов. Второй раз — со всей семьей. Так вот, я, Лина, дочка его».

— Все просто! — воскликнул, не ожидая вопросов, отец. — Была Лина, стала Павлина! Была Товстенко, стала Березовской! По мужу, значит. Все помню! Ярославка — это вот где... Минутку!

Тогда отец и развязал впервые у нее на глазах свою заветную папку. На самодельной карте парти-

занских районов показал и Бобровицу, куда в сорок первом пришел оборванцем, и Ярославку, где жила тогда эта Лина. Пояснил:

— Говорят, сам Ярослав Мудрый приезжал сюда с дружиной пировать после сражений — от того и название.

Из всего, что хранилось в папке, Ольгу заинтересовала тогда лишь одна розовато-желтая, согнутая пополам картонка, величиной с ладонь — временный немецкий паспорт на имя Ремова, с которым отец жил в фашистском тылу. «Гильт ниht альс Райсаусвайс» (недействителен для разездов) — сообщалось на его обложке, а на развороте так же — на немецком и украинском — было написано: «Статур (стан) — штарк (крепкий); хааре (волосы) — блондэ (светлые); аугэн (глаза) — грауэн (серые); гроссэ (рост) — 156».

Письмо Березовской он из-за дрожи в руках отпечатал тогда на машинке:

«...Глубоко растроган Вашими теплыми словами. Взволновало и то, что есть люди, которые меня вспоминают. Сведения обо мне как о директоре школы устарели: по состоянию здоровья работаю просто учителем, а также зимой и летом с заочниками в пединституте. Преподаю немецкий. Окончил два института, мечтал об аспирантуре, но врачи запретили мне дальше учиться: сказались фашистские пытки. Экспертиза в Центральном институте трудоспособности установила, что нарушена центральная нервная система в результате травмы головного мозга. Болезнь прогрессирует. Но я духом не падаю...»

Николай напечатал ответ только Лине, но его письмо по дороге в Киев будто размножилось и разлетелось во все концы: в ответ посыпались письма и даже посылки из множества мест — от всех, кому обрадованная Лина поспешила сообщить его адрес.

Сразу откликнулась Бобровица — пришла районная газета «Жовтнева зоря».

— Номер в честь освобождения города от оккупантов. Смотри-ка, — сказал отец. — Тут строчки и обо мне — красным подчеркнуты: «Бесстрашный разведчик...»

— О тебе? — Ольга усомнилась. — Тут Печенкин М. О. — инициалы не совпадают.

— Говорю, все просто, Олечка! — засмеялся отец. — Я ж Мыкола Олексийович! Зрозумела? Тож українська мова! Я заспиваю. — И отец взялся за баян: — Ты казала у субботу...

Он пел и играл весь вечер, сам поражаясь тому, как хорошо запомнились украинские песни.

Затем отцу прислали газету из Киева — тоже с теплым словом о нем. Следом — две объемистые украинские книги с дружеским посвящением:

«Прочитай, взгрустни... Но все же и крепись!.. Мы, несмотря ни на что, были счастливы, потому что все отдавали борьбе с фашизмом и не остались в долгу перед Родиной».

Отец ахнул: книгам уже лет по пять, а он и не подозревал об их существовании. Правда, было в них об отце всего-навсего по одному и такому небольшому абзацу, что кто-то из знакомых даже огорчился:

— Несколько строк... О тебе хоть роман пиши!

— Как и о любом честном солдате! — возразил отец. — Но ведь их миллионы! Как же обо всех написать! Потому и в книгах они порой как на поверке: одни фамилии...

— Вот именно — будто в отчетах! А я бы звездам солдатские давал имена! Числа им нет, звездочкам, — на всех достанется!.. Дать звезде имя солдатское и описать в каталоге, как он мир спасал от фашизма!

Отцу возгордиться бы от того, как тепло обласкали его друзья с Украины. А он вдруг задумался больше прежнего, забеспокоился. Не о себе, о друзьях военных лет. Узнав от Березовской его адрес, они сразу дали знать о себе и, завязав переписку, повели долгий разговор по душам о своих трудных, но гордых судьбах. Для отца их беды и радости — его собственные, он о каждом друге может рассказывать часами.

...О том, что для Печенкина чужого горя не бывает, подумал я еще в нашу первую встречу с Олиным отцом. И лишний раз убедился в том же, когда вместе с ней навестил Николая в заводской больнице.

Мы пришли туда с Ольгой, когда в невралгическом отделении был закрытый для передач и свиданий день. Но стоило Ольге прильнуть к большому окну угловой отцовской палаты, как оттуда нас тотчас заметили и позвали Николая Алексеевича. В синем байковом ха-

лате до пят и почему-то с кистью в руке он подошел к окну. Жестами приказав обогнуть корпус и подойти к центральному входу, он там по-хозяйски пропустил нас сначала в тамбур с тяжеловатым больничным теплом, а потом в пустой врачебный кабинет.

— Тут вновь поступивших осматривают. Но нынче за главного — я! — объявил тихонько, посмеиваясь. — Все просто! Заголовки им для стенгазет рисую. В прошлый раз на пять номеров вперед, а теперь на весь год попросили...

Ольга укоризненно качнула головой. Отец не умел оставаться без дела даже во время болезни или отдыха и вечно трудился сверх всяких обязанностей. Когда всей семьей жили на турбазе, оформлял фотогазету: сам фотографировал, сам снимки печатал и делал подписи; половину отпуска ухлопал. В школе он руководил художественной самодеятельностью, много лет избирался секретарем партийной организации. И, ко всему прочему, он остается заботливым сыном для старых учителей, у которых когда-то учился. Чуть что — они стучатся к Печенкину. Умер старый человек, школьный географ, жена его звонит: «Коля! Помогите!» И Николай все хлопоты берет на себя. У другой старушки, учительницы, отказал холодильник — Печенкин снова в бегах, ищет запчасти: «Как ей жить без холодильника? Лишний раз в магазин ходить? А она даже по комнате с трудом передвигается». Из больницы он пачками отправляет письма товарищам военных лет, хлопочет об их делах.

— Попросили — понимаешь? — Николай виновато развел руками. — А я не смог отказать.

— Неправда! Если и попросили, то лишь новогодний номер оформить, а ты... — Ольга, сочтя дальнейший спор бесполезным, махнула рукой и ушла в институт. А Николай подвинул мне стул и подмигнул:

— Все просто! Газеты газетами, а я сюда не только ради них спрятался. Вот... — Он вынул из портфеля толстую пачку писем. — Это последние, на которые еще не ответил. А не ответить нельзя... В каждом, как говорится, эхо войны. За каждым столько всплывает в памяти!.. Вот только что мне переслали из Киева письмо дочери погибшего коммуниста Федора Будника. Прочти — все поймешь.

Я прочитал:

«Когда в селе начались аресты, отец, заранее предупрежденный, что и он на примете, хотел уйти в лес к партизанам, но слишком промедлил. Он был арестован среди ночи 24 января 1943 года и вместе с группой комсомольцев и других подозрительных для фашистов лиц был вывезен неизвестно для нас куда и бесследно пропал... Партбилет и оружие отца мы хранили до возвращения наших, а потом передали в военкомат. Сами мы, две его дочери и сын, живем в Киеве и работаем на заводах. Пришлите нам адрес Николая Печенкина и передайте ему, пожалуйста, что все мы, жена и дети Федора Евсеевича, сердцем и душой благодарны ему за спасение наших жизней: ведь фашисты и нас хотели уничтожить...»

— Да, Федор Евсеевич промедлил с уходом в лес,— сказал Николай.— А он, Евсенч, можно сказать, мой крестный отец в подпольных делах. Это он на работу в фашистской комендатуре меня благословил. Большого ума был человек!

О Федоре Буднике и о других товарищах военных лет Николай рассказывал мне с полдня, а на прощание протянул свою заветную папку:

— Покопайся, может, что-нибудь найдешь для себя полезное.

Взяв его бумаги, я не думал о каких-нибудь обязательствах. Однако история Николая Печенкина оказалась не из тех, которой можно коснуться лишь мимоходом. Она повлекла меня в архивы и библиотеки, к многочисленным друзьям Николая. Даже очерком о Печенкине, напечатанном в «Правде», я не смог, как оказалось, освободиться от всего, что приковало меня к этой истории. Не только потому, что на очерк откликнулись новые люди, открылись новые судьбы и обстоятельства. Меня затронуло и то, что сам Николай отнесся к очерку сдержанно, причины чего, конечно, не угадал — рассказал об одном заводском друге, бригадире сборщиков; ему тоже в свое время посвятили очерк в газете. Николай, с удовольствием прочитав его, поздравил приятеля, но тот в ответ лишь махнул рукой:

— Одно расстройство. Ночь не спал...

— Напутали что-нибудь?

— Нет, все было так. И все-таки — иначе! Мы работаем на один наряд! Когда надо, подменяем друг друга. А из меня в газете вроде бы солист получился.

Передав мне этот разговор, Николай заметил:

— Правда, ты в своем очерке назвал фамилии моих товарищей и оговорился: «Все они и многие другие подпольные друзья Николая равны с ним в этой непримиримой борьбе, и если он один пока попал в «фокус» этой истории, то лишь в силу своего особого при оккупантах положения. Так считает сам Николай...» Да, я именно так и считаю: один, сам по себе, не продержался бы и дня. Ты столкнулся с легендами: в них я эдакий малец-удалец, который запросто два года водил за нос фашистов. А я был не один, действовали мы, как в бригаде моего заводского товарища, где все друг от друга зависят. Ведь мы одинаково рисковали жизнью. И многие отдали ее ради общего дела. Наша группа тоже не избежала потерь. А разговор свелся только ко мне...

Видимо, самое первое печатное упоминание о Николае Печенкине появилось в книге «Бессмертие юных» — капитальном, глубоком исследовании о подпольной и партизанской борьбе молодых советских патриотов в период временной оккупации Украины. Эту книгу написал Петр Тимофеевич Тронько, ныне доктор исторических наук, заместитель Председателя Совета Министров Украины. А в ней есть такие строки:

«Однажды к коменданту Бобровицы Вальтеру Бибраху зашел грязный оборванец и предложил свои услуги в качестве переводчика. Вскоре в подтянутом юном переводчике нельзя было узнать недавнего оборванца. Он вошел в доверие к Бибраху и сопровождал его повсюду. И кто бы мог подумать, что переводчиком был комсомолец Печенкин, «постоянный представитель» партизанского отряда Кривца при коменданте».

О делах Николая Печенкина знал и начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-лейтенант Тимофей Амвросиевич Строкач. В своей книге «Наш позывной — свобода» генерал писал:

«Николай Печенкин за два-три дня мог сообщить через связных про намерение фашистов покончить с отрядом имени Щорса. Так, на протяжении двух лет было сорвано шесть карательных походов против... отряда Александра Кривца».

Труды этих уважаемых авторов обобщают историю партизанской и подпольной войны на Украине — в них речь о десятках отрядов и сотнях людей. На Николая Печенкина авторы справедливо обратили внимание, когда задумались, благодаря чему же всего в семи-восьми десятках километров от Киева, в местах, трудных для партизан по природным условиям, они смогли не только выстоять под непрерывным натиском карателей, но и постоянно наносить врагу серьезный урон. Секрет оказался и в умело поставленной разведке.

А тут главной опорой партизан были подпольщики Бровицы.

В этом небольшом городке обосновался фашистский центр управления тремя крупными районами — как раз теми, что превратились в партизанские. И здесь не один Печенкин, а, действительно, восемь из девяти переводчиков были активными подпольщиками и, работая в комендатурах, в жандармерии, на железнодорожной станции, всемерно помогали партизанам. Но Печенкин, старший переводчик самого Бибраха, был, конечно, осведомлен о действиях фашистов лучше других, и он к тому же обобщал все те сведения, что узнавали его коллеги. Кроме того, именно он чаще всего сведения о фашистах передавал партизанам, причем не только через связных, но зачастую лично из рук в руки. Тайно от Бибраха не раз совершал рискованные рейсы в леса, к партизанскому руководству.

Он действительно был, как удачно подметил П. Т. Тронько, «постоянным представителем» бровицких подпольщиков при партизанах. Его в лесах знали, конечно, лучше тех, с кем не были связаны постоянно и напрямую. А в отряде имени Щорса считали Печенкина своим бойцом, только отправленным на особо важное задание. Поэтому, представляя Николая к правительственной награде, командир отряда Герой Советского Союза Александр Елисеевич Кривец сра-

зу после изгнания оккупантов из района написал о нем в «Боевой характеристике»:

«Тов. Печенкин Н. А. связан с партизанским отрядом имени Щорса с мая 1942 года... Работал в сельхозкомендатуре города Бобровицы под псевдонимом Ремова Николая Васильевича и выполнял задания по сбору и передаче разведывательных материалов, а именно: о расположении немецких гарнизонов, об их численности и вооружении; о концентрации немецких войск, их сосредоточении, цели прибытия и дальнейшего продвижения. Он своевременно предупреждал отряд о готовящихся немецких облавах, предупреждал коммунистов и советских активистов о предстоящих арестах. Все порученные командованием отряда задания были добросовестно выполнены...»

Николая ценили и в другом партизанском отряде:

«О всех замыслах немецкого командования, а также о мероприятиях жандармерии, которые были направлены против партизан, мы всегда и своевременно узнавали через товарища Н. А. Печенкина», — напишет тогда же партизан гражданской и Великой Отечественной войн Порфирий Кихтенко, секретарь парткома партизанского соединения «За Родину».

Позднее, в своей книге «Багряными дорогами» — о боевом пути отряда имени Щорса, Александр Кривец рядом с Николаем Печенкиным назовет и другие имена.

«...Печенкин и его товарищи-подпольщики добывали для нас оружие, боеприпасы, радиоприемники, дефицитные запасные части для машин, размножали и распространяли сводки Советского Информбюро. Но главной задачей Печенкина в логове гитлеровцев оставалась разведка, и про это он никогда не забывал. Нам, чтоб обезопасить отряд от внезапного нападения карателей, успешнее бороться против захватчиков, надо было знать все вражеские планы и замыслы. Пользуясь доверием Бибраха, Печенкин имел доступ к секретным циркулярам, поэтому заранее узнавал, где, когда и как готовятся против нас операции, какие войска проследовали по железной дороге через станцию Бобровицы, кого и когда думают арестовать из советских активистов. Почти все крупные карательные экспедиции против нашего отряда остались безрезультатными».

татными: благодаря точным данным о них, располагая автомашинами, мы своевременно уходили в другие леса».

А командир соединения «За Родину» Герой Советского Союза Иван Михайлович Бовкун тепло вспоминает о старшем друге Печенкина — учителе Нелине:

«Один из руководителей подпольной группы в Бобровице, Алексей Никитич Нелин, по кличке Медведь, а до войны учитель средней школы, всегда скромно держался в стороне, не вступал в разговоры и только усмехался... Он появлялся возле стоянки, просил передать командиру, что «прийшов Медведь», и его провожали ко мне или к начальнику штаба».

Если Николай Печенкин — по подпольной кличке Таракан — больше был связан с Александром Кривцом, то Алексей Нелин — с отрядом «За Родину». И оба подпольщика лично поддерживали связь с уполномоченным ЦК партии Украины Яковом Романовичем Овдиенко, который был направлен в эти районы для координации действий партизан. По этим трем активно и постоянно действовавшим линиям связи бобровицкие подпольщики не только отправляли разведывательные данные, но получали задания, советы, инструкции.

Они собрали и отправили партизанам множество оружия и боеприпасов. Лишь третий полк соединения «За Родину», как свидетельствует его командир Михаил Дешко, получил из Бобровицы двадцать три винтовки, триста гранат, восемь тысяч патронов и пулемет Дегтярева.

Когда подпольщики Бобровицы составили по просьбе разведотдела дивизии, освободившей город, отчет о своих боевых делах, в список людей, активно помогавших им, вошло около восьмидесяти человек. Теперь этот отчет хранится в архиве Черниговского обкома партии, и на запрос о его судьбе отдел партийных органов обкома сообщил Николаю, что в результате тщательной проверки, он, Печенкин, «и **БОЛЬШИНСТВО ТОВАРИЩЕЙ**» (подчеркнуто мной.— С. Г.), указанных в отчете, «внесены в списки участников антифашистского подполья и партизанского движения на территории области в период Великой Отечественной войны».

Да, с Печенкиным и его друзьями в постоянном боевом контакте были десятки патриотов не только из Бобровицы, но и из всех крупных сел района. Это и определило успех борьбы. Подпольщики разоблачали и уничтожали предателей, добивались, чтобы в немецких учреждениях работали свои люди. Вели пропаганду против врага, срывали многие хозяйственные «начинания» фашистов. Подпольщики были тогда в Бобровице и тайным военкоматом — искали и переправляли в партизанские отряды надежное пополнение. И не поддается учету все, что делали они изо дня в день для попавших в беду советских людей. Подпольщики научились быть такими посредниками между оккупантами и населением, так вели перевод, что зачастую умело вводили в заблуждение своих ненавистных «хозяев», выручали патриотов из, казалось бы, безвыходных положений. Не случайно после изгнания оккупантов подпольщики, работавшие в фашистских учреждениях, не встретили презрения или недоверия местных жителей, а наравне со всеми взялись возрождать в Бобровице нашу советскую жизнь — как уважаемые люди. И это народное доверие было их главной наградой за стойкость и мужество, за верность родной стране.

Оказалось, что даже при оккупантах, не подозревая, разумеется, обо всем, что делали подпольщики, жители прекрасно разбирались «кто есть кто». Знали, кто из служащих фашистской комендатуры предаст, обратись с бедой, а кто поможет.

Подпольщики теряли в борьбе своих друзей. И все же вновь и вновь рисковали. Попадали в фашистские застенки, но не сдавались даже под пытками, твердо зная, что их дело доведут до конца те, кто еще мог действовать.

За их судьбами стоит ныне не только грозное испытание войной, но еще и ритмом, деловитостью двадцатого века, его идейной, нравственной остротой. Они и эту проверку жизнью выдержали с солдатским достоинством. Мне довелось воочию убедиться в этом, понять, почему Николай так привязан душой к своим военным друзьям, когда я познакомился с ними. Со старым уже учителем и ныне жителем Бобровицы Алексеем Никитичем Нелиным и с земляками его:

Ольгой Гораин, Анной Качер, Василием Манзюком, братьями Рябухами — Петром и Николаем. Разыскал я бывших переводчиц Жанну Соколову, Галину Вакуленко, Ленину Кузьмичеву, Марию Нагогу, Татьяну Муравьеву — они сегодня живут в разных городах. Познакомился с учительницей Ниной Басюк — она живет на Тернопольщине; со многими другими друзьями Николая по бобровицкому подполью. И я понял, что просто не могу, не имею права не рассказать об этих людях. О тех, кто погиб в борьбе. И о тех, кому выпала судьба остаться в живых. Об их военном прошлом. И — о них, сегодняшних. О боевом братстве этих людей в войну и о том, что даже «через годы, через расстояния» роднит их и поныне. Рассказать — документально, строго опираясь на факты и свидетельства очевидцев.

ПАПИНА ДОЧКА

От века по замыслу архитектора выкрашенные в огненно-красный цвет стены Киевского университета жарко полыхали в лучах полуденного солнца. Видно поэтому коридор биофака, когда вошел я с улицы, показался мне настолько темным, что я замешкался у входа, чем сразу привлек внимание вахтерши.

— Мне бы Голынскую...

Я умолк, сообразив, что знать каждого в огромном коллективе преподавателей вахтерша совсем не обязана. Но женщина охотно откликнулась:

— Евгению Львовну? Только что прошла на свою кафедру...

И вот сначала лаборатория, в которой над чем-то колдовали студенты, а из нее — дверь в узкую комнату с высоким канцелярским шкафом и письменными столами. За одним из них что-то быстро писала невысокая темноволосая женщина в синем костюме. Когда она повернулась ко мне, взгляд ее был сосредоточен, даже хмуроват.



— Жанна? — Я узнал ее по фотографии из папки Николая.

— Жанна?! — Женщина от изумления встала.

— Простите, разумеется, Евгения Львовна!..

— Пусть и Жанна, — вздохнув, согласилась она. — Я поняла, вы от Николая? — И стала быстро складывать бумаги: — Видите ли, между мною и Жанной уже целая жизнь пролегла.

Досказала все это она уже там, за стенами университета, на бульваре Шевченко, где нашли мы свободную скамью. Известная мне по рассказам Печенкина как Жанна Соколова, а ныне доцент, кандидат биологических наук и автор двух солидных учебников по генетике Евгения Львовна Голынская, такая строгая и собранная на кафедре, тут, под старым каштаном, внезапно расплакалась, словно школьница.

— Простите, — проговорила сквозь слезы. — Слишком неожиданно прошлое навалилось.

Первый разговор у нас вышел сумбурным, и Евгения Львовна, сама почувствовав это, на прощание пообещала:

— Я буду вам писать! Непременно! Ждите!

Ожидать пришлось долго.

«Извините, пока не до того. Я руковожу научно-исследовательской группой, мы выполняем очень почетное и очень ответственное задание — разрабатываем технологию получения одного биологически активного препарата, который раньше покупали за границей. А сейчас — конец года. Я на последнем пределе сил, так как и педагогическая нагрузка с меня не снята. Потому и не могу настроиться на ту волну, которая необходима для нашего разговора».

Вспомнить войну и Жанну ей «помогла» болезнь: «Неважное самочувствие настраивает на философский лад, и мне на какое-то время удается вырваться из всего того, что составляет мою сегодняшнюю жизнь. Отвечу на Ваши вопросы...»

Она начала с рассказа о доме:

«Родилась я в счастливой семье, где меня ждали и любили, интересовались моей жизнью и старались во всем помочь... Дома нас с младшей сестрой Азой окружала атмосфера дружбы, веселья, ладного, спорного труда и постоянного внимания. За семнадцать лет

моей жизни с родителями они поссорились лишь однажды».

Тон в их семье задавал отец.

«Он был у меня умный, талантливый человек, знал много стихов, играл на гитаре и других инструментах, сам писал стихи, но, как мне представляется теперь, его самым большим талантом было то, что он любил жизнь, умел многому радоваться, был предельно честным и очень твердым человеком.

Он водил нас в оперу, дарил книги, и от него шел такой покой и такая любовь, что мы с Азой чувствовали себя навсегда от всего дурного защищенными.

Отец был агрономом в Наркомате совхозов Украины, и это тоже, как мне кажется, сыграло важную роль в моей жизни. Я была настоящей папиной дочкой, и поэтому, когда в школе кончались занятия, он часто брал меня с собой в дорогу. У него была лошадь, небольшая бричка, мне там устраивали удобное сиденье, и мы уезжали. Отец о многом со мной говорил, и я до сих пор помню, а скорее сказать, ощущаю эти счастливые дни...»

И о маме писала Жанна с восторгом:

«Всю жизнь мама была учительницей младших классов, любила свою работу, любила детей, и ученики ее очень любили».

А в себе Жанна отметила одну особенность:

«Мне кажется, я обладала обостренным чувством справедливости, что не изжито до сих пор. Я часто плакала над книгами Горького: мне было очень тяжело, что у людей могла быть такая жизнь».

Не удивительно! Ей-то самой жизнь, как и большинству ее ровесников, до войны улыбалась!..

«Повезло и в том отношении, что у меня была отличная школа и хорошие учителя. Мы жили в пригороде Киева — Святошино, я закончила сто сороковую среднюю школу в прекрасных условиях. Школа стояла в лесу, большая, классы просторные, много света и воздуха. Почти каждый учитель был личностью в лучшем смысле слова. И это не мираж из розового детства, а уже оценка педагогом труда других педагогов. Мы спешили в школу намного раньше звонка и не хотели из нее уходить, даже когда нас выпроваживали».

Все годы Жанна была отличницей, за что наградили ее путевкой в Артек, любила кататься на коньках и на лыжах, летом на улице «создавала театр», сама писала для него пьесы — «всегда что-нибудь революционное: такая была эпоха!» — и сама играла первые роли, удивляясь, почему публика все наперед в ее пьесах знает. И была она, разумеется, строгой старшей сестрой, о чем Аза Львовна, ныне тоже кандидат наук, только технических, не без юмора мне написала:

«С сестрой мы были разные. Она — полный порядок: только «птичница-отличница», только сверхактивистка, во всем первая и очень добросовестная. А я — все наоборот: любила улицу, игры и не очень учебу. Для Жанны четверка — позор, она четверок не получала, а я и за троечки не краснела. Идти в школу с неподготовленными уроками для Жанны было невыносимо. Я же о задачах могла вспомнить, увидев, что папа вернулся с работы. Мы были такими разными, что мама даже на родительских собраниях любила повторять: у меня две дочери, но по своим характерам это небо и земля. Конечно, Жанна была небом, я — землей, но от этого ничуть не страдала».

А Жанна все эти послания об их довоенной юности заключила так: «Наверно, покажется, что я все идеализирую. Может быть, от моего детского взора и ускользнули какие-то трещинки. Но я тогда воспринимала все именно так».

Письмо заканчивалось посулом: «...потом начнется война и рассказ о том, как я из такой семьи, оставленная на самую себя, жила».

И наконец:

«Я отодвигаю все в сторону, чтобы вернуться в 1941 год, и то, что хочу написать, я большими черными буквами озаглавила бы: «ГОРЕ». Это было самое тяжелое, самое большое горе, мое личное и многих моих сограждан, родных и неродных. Сейчас иногда наши милые студенты острят по какому-нибудь мелкому поводу: «Страшнее войны!..» Я вся внутренне сжимаюсь, даже в шутку мне не хочется такого слышать. Ничего нет страшнее войны! Я знаю это по себе. Война поломала всю мою жизнь и жизнь многих мне близких людей. Недавно я отдыхала в доме отдыха для инвалидов войны. Далеко не все из них по-настоящему побе-

дили свою беду, а многие не смогли, и война держит их цепко до сих пор. Отец мой погиб, я и муж — оба инвалиды войны, а это не только болезни, это еще и тяжелейшая психическая травма, с которой не знаешь, как справиться».

Чтобы эти слова лучше понять, надо представить тот безоблачный июньский вечер, когда в распахнутых окнах квартиры Соколовых сквознячок играл легким тюлем, когда вся семья собралась у зеркала, а Жанна демонстрировала платье, сшитое ей к выпускному школьному вечеру, и новые туфли — подарок отца.

Аза старшей сестре откровенно завидовала:

— Нам, семиклассникам, только ситро на вечере и танцы до десяти, а вам и шампанское, и гуляй хоть всю ночь!..

Они и гуляли до самой зари, десятиклассники 1941 года, счастливые от того, что можно по «почте», непременно на вечерах тех лет, записки писать пораскованней и танцевать с кем угодно, без оглядки на учителей. Она прекрасной была, та бессонная июньская ночь. Это я лично свидетельствую, так как тоже гулял тогда до зари с друзьями-десятиклассниками в Коломне, где в Оку впадает Москва-река.

От Жанны не отходил Сергей Голынский, ее давний поклонник. Ему хотелось побыть с ней наедине, а Жанна все уклонялась, чтобы отдалить то желанное, что, она чувствовала, скажет ей Сережа.

А потом они услышали в небе незнакомый воющий звук, а с земли, от железнодорожного полустанка Пост-Волынский, торопливое тявканье зениток.

— Что это? — только и успела прошептать Жанна, как неподалеку тяжело грохнул взрыв.

— Вродс бомба, — растерялся и Сергей, но тут же догадался: — А! Это учебные! Бежим, посмотрим?

— Бежим!

Но им с приятелями дорогу вскоре преградили железнодорожники:

— Дальше пока нельзя, — услышала Жанна. — Не знаем, что происходит. Придет время, станет известно. А пока расходитесь. Вы комсомольцы? Вот и покажите пример, не сейте панику!..

Они разошлись по домам, заметив, как в стороне проехала телега с первыми ранеными: провезли ста-

рика и мальчика с забинтованной головой. Они успокаивали жителей поселка:

— Ничего особенного — маневры. Раненые? По ошибке. Влетит кому надо, увидите!

В один из дней она стояла в толпе на митинге.

Именно тогда ее резанули слова:

— Вишь, как к нам теперь обращаются-то: «Гражданин и гражданки...» А «товарищ» куда ж? По боку?

Это был чужой, подлый голос. Теперь, годы спустя, Жанна говорит об этом твердо, зная, что тот продавец из соседнего магазина стал при гитлеровцах полицаем и расстреливал беззащитных в Бабьем Яру. Но тогда она взялась этому толстенькому продавцу объяснять, что слово «товарищ» исчезнуть не может, оно пришло на землю не вдруг, а если и заменится когда-нибудь, то лишь одним словом — «братья».

Жанна возвратилась домой довольная: продавец даже поблагодарил ее за «умную беседу».

А дома неожиданно для себя Жанна увидела маму плачущей.

— Мам, ты что? — спросила удивленно.

А мать всхлипнула громче:

— Папа мечтал увидеть, как ты будешь учиться в университете...

— Ну и увидит.

— Он сообщил, что призывают в армию. Нынче и отправка.

Жанне хотелось пожать плечами: «Ну и что?..» Ничего не было страшно ей, семнадцатилетней, всеми любимой и хвалимой!

Она провожала отца так, будто он собирался не на фронт, а в поездку по районам:

— А бритву взял? А мыло с полотенцем?

Они получили от отца лишь одну открытку — из Золотоноши. В ней он просил жену сберечь их девочек, потому что «немцы творят ужасное». А Жанна все еще не тревожилась: «Я никак не могла поверить в его смерть. И всю войну я была уверена, что он жив и обязательно вернется. Я ждала его и после войны, — это было мучительно. И только несколько лет назад, перебирая старые бумаги и фотографии, вдруг окончательно поняла, что его давно нет на свете».

Она поняла это, когда достигла возраста, в котором отец ее добровольцем ушел на фронт. Но отцовской зрелости жизнь потребовала от Жанны сразу после прощания с ним. «Мною Жанна командовала всегда,— напишет ее сестра,— а в тот трудный период и мама стала ее полностью слушаться. Жанна после ухода отца заняло его место, стала как бы главой семьи».

Да, Евгения Потаповна, их мама, растерялась — часто плакала, все ждала вестей. А один отцовский знакомый расстроил ее совсем.

— Вы еще не в армии? — спросила она, с ним повстречавшись.

— Наверно, все там будем,— знакомый по-свойски ей улыбнулся.— Но куда торопиться? Я вашему Льву удивляюсь. Ценный специалист, а ушел наравне с комсомольцами. Если мне выдали бронь, то ему бы и по-давно. Или он к высшему комсоставу причислен?

— Не знаю.

По деликатности своей мать знакомому больше ничего не сказала, да и дочерям передала разговор без осуждения.

— Значит, ушел добровольцем? И правильно!..— одобрила Жанна действия отца.— Жаль, мне лишь семнадцать. В военкомате сказали: «Еще чуток подрасти...» А то бы и я за отцом! А этот тип, твой знакомый,— дезертир!

Жанна все-таки не зря пробились в военкомат. Там, узнав, что девушка окончила курсы медсестер и имеет значок «Готов к санитарной обороне», ее направили в госпиталь. Правда, главврач хмуро сказал:

— Десятиклассница?! Что же я могу вам предложить? Только помощницей медсестры. А это, извините,— и параша выносить. Не будете брезговать?

В ее палатах военных не было, кроме одного летчика: он приехал за самолетами и попал под бомбежку. Его откопали покалеченным из-под обломков стены. Остальные раненые были заводскими рабочими: пожилой токарь — ему осколком бомбы вырвало коленную чашечку, а он прохромал еще квартал, чтобы узнать, жива ли семья; молодой слесарь, тоже раненый в ногу; большеглазая, красивая женщина — ей ампутировали ногу выше колена. Юного электрика, пе-

реведенного в отдельную палату, Жанна жалела больше всех: он был обречен. У него после ампутации нога не заживала, а гноилась, и ее резали — все выше и выше.

Но однажды утром она не застала в госпитале ни врачей, ни раненых: их среди ночи куда-то вывезли. Киев начали эвакуировать. Соколовы перебрались из Святошино к центру — поближе к наркомату отца. Когда принесли оттуда документы на эвакуацию, Соколовы отправились на Днепр к указанному причалу. Там стояла баржа, но пробиться к ней сквозь густую толпу они не сумели. А переполненному судну не суждено было пристать к другому берегу. «Тут налетели фашистские самолеты, начали бомбить. И на наших глазах от баржи с людьми ничего не осталось».

Жанна предложила немедля уходить из Киева пешком. Мать заколебалась:

— А где ж отец нас разыщет?

Они пробыли дома еще с неделю, до того сентябрьского дня, пока к ним чуть свет не постучала соседка:

— Наши отступают из Киева!

«Пошли и мы, пешком, почти без вещей, думали еще — ненадолго,— вспоминает Жанна.— Не знаю почему, но мама прихватила с собой только пару новых папиных калош...»

День был сумрачным или казался таким из-за едкого дыма и пыли, заставших небо, из-за слез, щипавших глаза. Двери магазинов и аптек стояли нараспашку. По улицам сновали люди с мешками и сумками, иногда подбегали к Соколовым, совали лекарства и продукты:

— Берите, милые! А то все наше добро фашистам попадет!

Соколовы понимали, что им предлагают разумное. Но этим советам последовать не могли. И Жанна пишет:

«Боюсь, что я всегда была слишком правильной: «Не пейте сырой воды!» Ужасно дисциплинированна и сейчас. Один мой друг называет меня ригористкой. Я никогда не пойду на красный свет светофора, а совсем недавно поймала себя на том, что даже сержусь, когда нет светофоров и самой нужно смотреть сначала налево, а потом направо. И можете представить,

каково же было мне, «папиной дочке», тогда в сорок первом, когда кончились мои указатели и осталась я без отца, без школы и комсомольской ячейки — словом, без светофоров!»

Но Жанна забыла: еще один «светофор» она встретила. У Днепра, на контрольно-пропускном пункте через мост — в лице молоденького лейтенанта.

— Значит, паспорт на ломового, а вещи в карман? — задержав их, невесело пошутил он. — Куда путь держите?

— Куда все... Разве не знаете? — Жанна пожала плечами.

— Если крови не боитесь, на машину с ранеными посажу. С ними ехала санинструктор, да снарядным осколком ее с борта сшибло. За сестренку им будешь.

Машина как вклинилась в бесконечный строй других машин, так и катилась в клубах черной пыли — не по дороге, а по обочинам. Дороги на всех не хватало. Машины, повозки, пешеходы двигались плотными рядами и по обе стороны шоссе. У кого кончился бензин, тот выводил машину из строя и уходил пешком. До Борисполя вместе с армией шли несколько дней, а там начались свирепые бомбежки. Какими дорогами ехали дальше, Жанна не помнит. В памяти стерлось все, кроме воя «мессершмиттов» и «юнкерсов», поливающих их огнем, кроме страха за раненых, за мать и Азу. Шофер после бессонных ночей задремал и, врезавшись в другой грузовик, сорвал капот. Ехали с незащищенным мотором, а в кабину посадили мать, чтобы не давала водителю заснуть.

Но село Малую Супоевку они запомнили все. Тут наступил не только конец их пути, но, подумалось, и конец света. Шофер, походив среди стоявших машин, возвратился расстроенным:

— Дальше ходу нет. Говорят, мы в окружении. Идет бой...

Они съехали в неглубокую балку, где пряталось уже много машин и повозок, стрельба действительно доносилась со всех сторон. К Жанне подошел высокий светло-русый красноармеец с перевязанной головой. Он держал в руках бутылку коньяку. Усмехнулся, перехватив сердитый взгляд Жанны, спросил:

— Хочешь согреться? Выпей, а то захвораешь. Выпей со мной, сестричка, на прощанье — прошу! Мы в окружении, вот собрались вдесятером, будем прорываться.

Солдаты ушли, а беженцы остались ночевать на копнах необмолоченной пшеницы. К рассвету стрельба поутихла, но над степью повис немецкий самолет-разведчик. Стоило машинам выехать из балки на дорогу, чтобы продолжить путь, как грянул артналет. Их полупорка затормозила так, что Жанна перелетела через борт: в раскрытый мотор угодила осколка. Шофер отослал всех в придорожный кювет, а сам полез за инструментом. Выглянув из канавы, Жанна увидела его в последний раз: от прямого попадания снаряда машина вместе с водителем взлетела на воздух. Огонь был ураганным. Когда он утих, в кювете рядом с собой Соколовы увидели наших бойцов и командира со шпалами в петлицах.

— Женщинам отсюда уйти! — властно приказал командир. — Рядом балка. По ней попадете в деревню. А здесь будет бой!

Где пригибаясь, а где ползком, они из придорожной канавы и впрямь попали в балку и побежали по ней к колхозному амбару, за которым пряталась толпа беженцев. Но не успели Соколовы добежать туда, как снаряд ударил и в амбар.

Потом они очутились в селе под стенами чьей-то хаты. Уже совсем близко рвали воздух автоматные очереди. Фашисты сжимали кольцо. И тут впервые Жанну сковал по рукам и ногам не просто страх, а гнетущий ужас перед немыслимой неизбежностью. Такое бывало только в кошмарных снах во время болезни. Но из снов был выход — пробуждение. А тут...

Уводя со двора пленных красноармейцев, гитлеровцы прошли рядом с Соколовыми. Затронь ее кто-нибудь или заговори, трудно сказать, что она сделала бы: могла бы броситься на врагов безоружная, вцепиться фашисту в горло, плюнуть ему в лицо...

Жанна с матерью и сестрой снова двинулись на восток, но уже пешком и без всякой надежды догнать фронт. Они прошли по дорогам жестоких боев. И Жанна напишет мне через тридцать с лишним лет: «Чего я только не увидела... Разбитые грузовики, санитар-

ные легковые машины. Из них мне особенно запомнились две. Одна — легковая «эмка», а в ней три командира. Видимо, они покончили с собой: на виске у одного запеклась кровь. Другая санитарная, набитая противостолбнячной сывороткой... Помню огромное поле, огражденное рядами колючей проволоки, а за ней наших красноармейцев — военнопленных».

Чтобы прокормиться, Соколовы подражались копать людям картошку и убирать тыкву. В Березани задержались подольше. Там встретились им женщина, работавшая вместе с мужем в святошинской школе: она — гардеробщицей, муж — сторожем. На лето не раз зазывали они Соколовых в свое село. До войны принять их приглашение не удавалось, а тут сами попросились к знакомым. Конечно, не праздными гостями. Снова убирали картошку, и, как позже узнали, с колхозного поля: хозяин дома оказался настоящим куркулем. Стоило фронту откатиться подальше — стал полицаем. Тогда жена его со слезами попросила Соколовых уйти:

— Не ручаюсь за него, он же знает, что все вы партийные...

Навсегда останется в памяти Жанны встреча с этим оборотнем. Так уж устроен человек: в десятках домов встречали Соколовых и привечали — и по дороге из Киева, и на обратном пути в Киев: куда ж еще могли отправиться они из Березани, ведь уже вовсю лютвала зима?! Так вот, доброта людская и верность своему народу их не удивляли. С этим выросли. А встреча с березанским куркулем — как заноза в памяти.

В Киев Соколовы возвратились в начале декабря, когда по городу шли повальные облавы и обыски. На Бессарабке Жанна увидела повешенных. Навсегда запомнила кудрявого босого парня с табличкой на груди: «Комсомолец». Хотя всюду висели объявления о регистрации коммунистов и комсомольцев, Жанна с мамой регистрироваться не пошли: понадеялись, что о них мало знают в новом районе. А в Святошино их жилье уже было разграблено полицией. Мать однажды пробралась туда и принесла только старый отцовский кожух. На этом кожухе они спали, им укрывались. На кирпичиках, сжигая книги и щепочки, готовили скудную пищу.

Работу сумела найти одна Жанна. Она нанялась сначала в бригаду по очистке снега — там давали небольшой паек. Потом — к частнику, открывшему мастерскую по изготовлению кульков и аптекарских коробочек. Но лавочка вскоре прогорела.

На борьбу с голодом и холодом уходили все их силы. А потом для Жанны наступило и самое страшное. Фашисты стали увозить молодежь в Германию насильно. И уже побывал в их квартире новый, назначенный немцами, управдом.

— Соколова? — спросил он, оглядев Жанну. — Вам семнадцать — так? Вас скоро пригласят на работу в Германию. Никуда не уезжайте и ожидайте повестку. Все! — Он поставил галочку в списке и дал ей расписаться. — Вы мной предупреждены.

— Пойдите! — У Жанны на миг перехватило голос. — А если мама больна, меня могут оставить?

— Нет. Вы нигде не работаете.

— Нет работы! Я ищу каждый день...

— Плохо ищете. Обратились бы в любое казино. Там будете сыты и даже обласканы... немецкими офицерами!

Он, хохотнув, ушел, а Жанна в полном отчаянии снова отправилась на поиски работы. В тот день она впервые и услышала о Бобровице. Вернее, прочитала: в объявлении на бирже труда, куда заглянула уже под вечер. В объявлении говорилось, что бобровицкой сельскохозяйственной комендатуре срочно требуется девушка-переводчица.

Она не слышала о таком городке. Не представляла раньше, где он находится. Но все же Бобровица — не Германия! И Жанна открыла дверь кабинета, указанного в объявлении.

«Когда меня после короткого экзамена по-немецкому решили взять на работу, посредник вдруг грубо сдернул с моей головы шапку, — пишет она. — Не знаю, чего он хотел. Правда, когда мы отступали из Киева, то немцы на колонну сбрасывали листовки: «Кто с долгими косами, пускай идет за нами, а кто с короткими — за жидами!» Может, он проверял, к какому разряду меня отнести?.. Все было похоже на невольничий рынок. Только в зубы мне не глядели».

Жанна не знала, что встретит в неизвестной для нее

Бобровице. Она только спасалась от голода и угрозы быть угнанной в Германию.

Через день за ней пришли из Бобровицы. Когда Жанна открывала дверь невысокому круглолицему парню в сером демисезонном пальто, в такого же цвета солдатской шапке-ушанке, то, конечно, и подумать не могла, что перед ней один из тех, кто поможет и во мраке оккупации встать на единственно верный путь.

Парень был подпоясан широким ремнем. На правом рукаве его виднелась повязка с черной свастикой в белом кругу и надписью: «На службе вермахта». «Вымуштрованный полицаи!» — подумала Жанна, увидев, как парень, по-военному сомкнув каблуки до блеска начищенных сапог, вытянулся на их пороге и немигающими, стального цвета глазами уставился в ее лицо.

— Я — Ремов, старший переводчик бобровицкой гебитсландвиртшафтскомендатур, — сухо представился он. — А вы фрейлейн Соколова, о которой нас известила биржа труда?

У Жанны перехватило дыхание. В прихожую, зарывав, вышла мама, а за ней и сестренка.

— Жанна, что ты наделала! Не пущу! На кого ты нас оставляешь? Что ждет там тебя? — Пока Жанна успокаивала их, парень успел оглядеть их пустую квартиру, а потом сочувственно пробормотал:

— М-да!.. Небогато живете!

Мать сразу притихла от этого сочувствия. А Жанне он показался совсем другим: он снял шапку. Светлорусый хохолок придал круглому его лицу теплоту и привлекательность, глаза смотрели вполне дружелюбно. Только голос звучал твердо:

— Не стоит так убиваться, мамаша! Не на казнь вашу дочь увожу. Вы даже будете видеться с нею. Бобровица не за тридевять земель, всего в двух часах езды на машине.

Пока Жанна собирала свои вещички, он успел не только успокоить мать, но и о многом ее расспросить, даже подержал в руках школьный аттестат Жанны:

— Надо же! Круглая отличница!

Он сумел сразу войти в доверие к Евгении Потаповне.

— Ты одевайся теплее,— посоветовал Ремов Жанне.— Фургон продувает.

В крытом кузове грузовика, ожидавшего их у дома, лежал тулуп. Переводчик отдал его Жанне и, усадив ее на какой-то ящик, сам всю дорогу поеживался и постукивал ногами. Попробовал ее о чем-то расспрашивать, но Жанна отвечала с трудом, тревожилась о матери и сестре. Тогда парень сам разговорился.

— «Гешефт» делали,— сказал он,— подмигнув в сторону кабины, где кроме шофера сидел тучный мужчина в гражданском,— на рынке, на Подоле. Они овес на гвозди меняли — немцам потребовались. А я — масло на сигары. Вот...— Он извлек из толстого портфеля яркую коробку.— Наш шеф любит их больше всего — гаванские!.. Ну и Подол! Чего там только нет!

— А вы кто? — спросила девушка.

— Я? — Парень будто удивился вопросу.— Разве я не сказал? Ремов — старший переводчик. В остальном ваш ровня — и по возрасту, и по образованию. Только не отличник. Но, думаю, это не помешает нам перейти на ты. Так?

Он прочитал в ее глазах согласие и как-то нехотя стал рассказывать о себе.

Но рассказывал он конечно же совсем не то, что было на самом деле. А было вот что.

ОПОЗДАВШЕЕ ФОТО

Войну те, кто воевал, не всегда помнят по датам «прибытия» на фронт и «убытия». Душе не прикажешь: она то заранее все переживет, а то и пережитое не сразу оценит.

Конечно, Печенкин, как и вся казарма, тоже вскочил на рассвете от страшного грохота и кинулся к окнам:

— Что это? Обвал? Землетрясение?

Война! Их разбудили первые фашистские бомбы, сброшенные на Киев. И они, курсанты курсов военных переводчиков, еще до официального известия узнали от офицера из разведотдела при штабе округа, что немцы перешли нашу границу.

— Значит, началось! — друг Николая Павлик Хименков с жаром потер руки. Это «началось» у Павлика прозвучало как «наконец-то!». Отведя друга в сторону, он признался:

— Я в этот договор с Гитлером никогда не верил, а в военные потому подался, что войну давно чую. Ох, получают же от нас фашисты! Слушай! Если в восемнадцатом го-



ду в Германии революция грянула, то уж сейчас-то!.. Сейчас, может, и мировая, а?..

Николай молчал, чуточку завидуя пылкости друга, его умению мыслить так смело и в мировом масштабе, потому что сам он, услышав о войне, вспомнил прежде всего о Лысцеве, о родных, о коломенской школе, об Умани, где недавно служил в минометном полку — обо всем, что любил и над чем вдруг нависла опасность. Его сковало беспокойство, а точнее, деловая озабоченность: все ли готово и в нем самом, чтобы не отстать от других, не попасть впросак?

Два года после школы, то есть всю армейскую службу, Николай прожил легко. Не то чтобы он был свободен сначала от солдатской, а потом от курсантской нагрузки. Нет, в полку он был первым номером минометного расчета, наводчиком, а значит, в учебных походах носил двадцаткилограммовую трубу миномета. Знал все тяготы строевой и караульной службы. Лихо, с винтовкой наперевес, преодолевал двухсотметровку с препятствиями, колот штыком мешки с сеном. Дважды был отмечен он значком «Отличник РККА». Нелегким солдатским трудом заслужил их. Когда из минометного полка послали его в Киев учиться на военного переводчика, он в короткое время друлично освоил немецкий язык, который раньше не мог терпеть.

И все-таки в армии он отдыхал. Не от того, что слишком крут был его взлет от мальчишки из полуграмотной крестьянской семьи до студента московского вуза, откуда он был призван на военную службу. Нет, отдыхал он не от учения: оно продолжалось и в армии. Он отдыхал от войны с самим собой. Ему впервые не надо было в себе ничего преодолевать. Ни химеры религии, как в детстве. Ни мальчишеских страданий от малого роста: он понял, что это — пустые страдания. Ни — чему особенно был рад! — огорчений от постоянной нужды. Чему удивляться? Страдал Николай, да еще как, когда бегал в школу в заплатанной одежонке и стоптанных ботинках, когда не мог поехать с классом в московский театр или сходить в кино — не было денег! Николай и вуз выбирал не по призванию, а тот, где стипендия повыше. Так и оказался он в институте рыбного хозяйства. А когда с первого курса призвали

в армию, только возрадовался: служба вообще освобождала его от забот о еде и одежде. Долго носил Николай ботинки с обмотками, поношенную форму. Но так во взводе были одеты все. И от подобного равенства со всеми было у Николая так легко на душе, как никогда прежде. Армия дала ему хороших друзей, помогла лучше понять себя самого. Он ощущал службу как передышку перед новым испытанием, более сложным, чем раньше.

Когда упали первые бомбы, понял: это испытание пришло. И ничто в душе его не дрогнуло, не зашлось, как у Павлика, в предчувствии всемирных перемен. Но он, подобно другу, весь внутренне оцепенел, когда пламя войны, зажженное фашистами, понеслось не на Германию, а в глубь нашей земли: не прошло и месяца — враг уже угрожал древнему Киеву. До той поры друзья не знали слова «отступление». Вся страна была до войны только в наступлении. Им, рожденным на развалинах старой России, видеть этот бурный натиск жизни было так же привычно, как ежегодный рост юного дерева, еще не набравшего сил, но всеми клетками устремленного к солнцу.

Они любили петь песню: «Ведь от тайги до британских морей Красная Армия всех сильнее...» И вдруг — отступление, каждый день новости, одна тяжелее другой. Не только из сводок, но и от людей. То Павлик с сестрой из госпиталя поговорит через изгородь, и та вздохнет:

— Нам раненых привезли уже из-под Житомира...

То сам Николай услышит от связиста:

— Штаб фронта третье место меняет: из Тернополя — в Житомир, а теперь — аж за Киевом...

Нет, они на минуту не теряли веры и в свою армию, и в ту жизнь, на которую посягнули фашисты. Но они все рвались в бой. Думалось: стоит им самим лично очутиться на фронте, как в войне наступит перелом.

Было горько, что этого не понимали другие — на все их рапорты об отправке на фронт отвечали:

— Вы что, лучше других? Все хотят на фронт! Ждите!!

День за днем проходили в бессмысленной, как им казалось, учебе. Киев бросал навстречу врагу всех, способных носить оружие. Ушли на фронт курсанты

артиллерийских училищ, даже интендантские и хозяйственные курсы, а их, отобранных для работы переводчиками на погранзаездах, все чему-то учили.

Когда отправили в Казахстан почти всех преподавателей училища, ребята решили, что ожиданию конец. На другую ночь курсантов действительно подняли по тревоге. Скатав шинели, собрав вещмешки, они с винтовками и противогазами долго шагали по пустынным улицам притихшего перед очередным воздушным налетом Киева. Обходя баррикады, подумали, что близок боевой рубеж. Но оказались они в опустевшем здании штаба округа, откуда, навесив на себя по два-три автомата, зашагали не к фронту, а за Днепр — против потока войск, спешивших под покровом ночи в уже осажденный фашистами укрепрайон. Все шли на запад, а курсанты — на восток. Шли целую ночь, чтобы на рассвете присесть на бугре перед каким-то селением.

— Это Бровары,— объяснили им.— Тут штаб Юго-Западного фронта. Значит, порядок держать железный. Разместитесь в хатах у населения — по четыре-пять человек...

— А что будем делать? — не выдержал кто-то.

— Учиться! — последовал прежний ответ.— И не задавать пустых вопросов!

Николай встречался с фронтовиками, привозившими с передовой донесения. Разговаривал с десанниками, ходившими в фашистский тыл,— они жили возле штаба в закамуфлированных палатках. Видел Буденного: маршал приезжал провожать бойцов двух партизанских отрядов, сформированных в лесу под Броварами. Повстречал Печенкин и первых фашистов — пленных: его с Павликом послали помогать майору из разведотдела.

В тот день, с которого и он, Печенкин, почувствовал себя на войне, кроме очередной бомбежки, ничего особенного они с другом не пережили. Но Павлик тогда неожиданно сказал Николаю:

— А ты знаешь, для чего нас берегут и готовят? Сообщаю абсолютно достоверные данные: нас скоро забросят во вражеский тыл!

— Вот оно что!

Павлик был изрядный фантазер, приходилось де-

лать скидку на его горячность, но при этих его словах — друзья шли ужинать — Николай даже остановился: все, что было с ними до сих пор, обрело смысл и цель.

Павлик мог больше ничего не говорить. Николай сам увидел доказательства его правоты.

Увиделись по-другому их ночной уход из Киева, учение при разведотделе штаба фронта, даже то, что приказ о производстве курсантов в комсостав подписал сам командующий фронтом генерал Кирпонос, а форму на зависть другим курсантам выдали им перво-классную: диагональные брюки, суконные гимнастерки, сапоги. Подумалось, что неспроста еще в Киеве курсантов учили танцевать, а потом устроили учебный банкет.

— Чую, скоро расстанемся, — сказал его друг. — Надолго. А может, и навсегда. Пойдем-ка сфотографируемся! Себе — на память, старикам — на утеху! Ахнут: сыны командирами стали!

— Это — точно. Мои все Лысцево обегут с такой фотографией...

Но их предсказания сбылись только в одном: друзья вскоре действительно расстались — и навсегда. Всю жизнь суждено Николаю горевать, что не узнал тогда адреса родных Хименкова, даже толком не запомнил, откуда друг родом. Одно ему известно бесспорно: родные Хименкова в ту осень фото сына не увидели. И в Лысцеве карточку Николая получили... через два с лишним года, и то благодаря чуду или, вернее, доброте неизвестных людей; они сберегли письма.

Известно, что после героической семидесятитрехдневной обороны древнего Киева Юго-Западному фронту пришлось вести бои со значительно превосходящими силами противника, в условиях окружения наших войск. Об этих тяжелейших боях ныне можно прочитать во многих военных трудах. Им посвящены подробные мемуары участника и очевидца сражения за Киев маршала И. Х. Баграмяна: «Город — воин на Днестре», «Так начиналась война». К этим книгам может обратиться каждый, кто хочет знать подробнее о гигантском сражении на Днестре.

А нам предстоит последовать за Николаем Печенкиным.

С тех пор как Павел Хименков высказал предположение, что их готовят в разведчики, Николай во всем происходившем стал видеть тому подтверждение. Переводчиков и в командирских званиях, несмотря на фронтовые условия, продолжали учить всему, что надо знать разведчику. Их, переводчиков, не только по догадкам Хименкова, но и по планам разведотдела Юго-Западного фронта, которому они были приданы, готовили к заброске в фашистский тыл. Правда, об этом не говорили. Но в последние дни стажировки к ним приехал капитан, научил приемам быстрого запоминания незнакомого текста, многим другим полезным вещам, а потом, вызвав отдельно и Хименкова, и Печенкина, каждого спросил:

— Предположим, вы попали к фашистам — кем назоветесь?

С помощью капитана Печенкин, как и все остальные, придумал для себя «запасную» биографию.

В Варве, красивом селе на высоком берегу Удая, вроде бы и начали сбываться предсказания Павлика. Тут друзей среди ночи потихоньку поднял дневальный:

— Быстро на улицу!

— Значит...

— Тихо!

Лил проливной дождь, все тонуло во тьме.

Но в колхозном сарае, куда собрали с полсотни человек, незнакомый майор в плащ-палатке, пожужжав динамкой ручного фонарика, осветил в их лица и негромко сказал:

— Сейчас получите противотанковые мины и бутылки с зажигательной смесью. Ваша задача: оседлать шоссе Перевалочное — Прилуки, заминировать его и не пропустить фашистские танки. В Прилуках теперь штаб Юго-Западного фронта... Ясна серьезность задачи?

В непроглядной ночи долго месили они грязь проселка, шагая за своим товарищем-москвичом, назначенным старшим группы.

Занимировав дорогу, залегли и больше суток ожидали танков, пока связной из Варвы не принес приказ о возвращении.

Но в Варве курсов переводчики уже не застали. Получили приказ: продвигаться на юг, к городу Пирятину. Тогда и услышали впервые, что окружены. Правда, войск фашистских, отходя к югу, они не повстречали, но вражеская авиация уже разбойничала над дорогами, забитыми войсками и беженцами. Нагнать курсы им удалось в селе Вечерки, но только затем, чтобы снова разделиться на две группы.

Одну, посадив на машины, увезли на восток, другая, куда попали Павлик и Николай, отправилась дальше пешком. В горящем Пирятине, забитом войсками, узнали, что их направляют уничтожать фашистский десант.

В темноте переехали на машинах по чудом уцелевшему мосту через реку Удай, неширокую, но с сильно заболоченной поймой. На опушке рощи машины оставили и двинулись дальше уже под яростным артиллерийским огнем. В лесу получили команду закопать документы. Пристроясь к остаткам пехотного батальона, вышли в степь. Всю ночь полыхали зарницы и гремела канонада. Взвивались над горизонтом ракеты: ослепительно белые — фашистские, желтоватые — наши. Доносились пулеметные очереди.

Шли жестокие бои.

К утру поднялись на пригорок и вдалеке за широким оврагом увидели большое село. В нем обещан был долгожданный привал. Приободрились, спускаясь в овраг.

Даже разбитые машины на дне его никого не сторожили.

— Тут без нас дали фрицам жару, — догадался Павлик.

Но не успели они спуститься к ручью, протекавшему внизу, как шквал огня обрушился на этот, видно, давно пристрелянный фашистами участок.

— Отходи! — донеслась чья-то команда.

Но куда отходить? Стреляли со всех сторон. А защита одна — уцелевшие чудом копейки сена на пологом склоне оврага. Перебегая от одной к другой, Николай стрелял — стрелял почти наугад, стрелял до тех

пор, пока кто-то не прыгнул ему на спину и не вырвал из рук винтовку. Чьи-то потные руки сошлись у горла... Николай почувствовал: сорвали петлицы. Потом такой болью обожгло запястье, что Николай вскрикнул и тут же затих — в спину уперлось дуло автомата и разда-лось:

— Комм! Комм!

Нет, не это еще было для Николая самым тяжким. Тут он сразу прикинул: «Комм!» — это значит «иди», «проходи!» Все понятно: хотят убить «при попытке к бегству». Он не двинулся с места. Но фашист, подтолкнув его автоматом в сторону села за оврагом и сказав еще раз: «Комм! Комм!», исчез.

Гитлеровцы, видно, услышав команду, поспешили к подкатившим машинам.

На Пирятин промчались танки, пушки, мотоциклы, и стало вдруг так тихо, что слышно было, как неподалеку догорает, потрескивая, копна.

Николай ладонью обхватил запястье левой руки: нет отцовских часов. Вот когда боль нестерпимей физической обрушилась на него. Память высветила день приезда Николая в отпуск. Отец, возвратясь к вечеру домой — завод праздновал свое семидесятипятилетие, — торжественно вручил Николаю эти часы:

— Вот, Никола... Тут подшучивают надо мной деревенские: «Паровозный маляр!» А меня, вишь, чем уважили? Именными! А на что они мне? Я тебе их дарю! Ты же будущий командир!

Из оцепенения Печенкина вывел знакомый голос:

— Сволочи! Эва, как прут! — Высокий, слегка сутуловатый Петр Штейнгардт, с которым Николай учился на курсах и дружил, встал рядом. — На нас рукой махнули: «Комм! Комм!» Думают, уже весь мир — Германия и деться нам некуда... А мы убежим! К своим прорвемся! Пошли! Вон хутор, видишь? До темноты там пересидим, все разузнаем, а потом... Потом разберемся!..

Николай посмотрел в ту сторону, где за пирамидальными тополями белели хаты, к которым брели по живью наши разоруженные бойцы, и вдруг спохватился:

— А Хименков?! — И повернулся к оврагу. — Он, может быть, там?

— Куда ты? Гляди!..

Внизу раздалась короткая очередь, и они увидели автоматчика: он добивал раненых.

— Пошли! — заторопил его Петр. — Наверное, Хименкова в живых нет...

Но Павлик был жив.

Его и еще нескольких бывших курсантов Николай встретил в Лубнах — огромном лагере военнопленных. Павлик после боя, как и Николай с Петром, тоже искал убежища в каком-то селе. Но все они еще не знали тогда, что у фашистов были четко распределены обязанности.

Одни отряды шли вперед, другие подбирали трофеи, сгоняли пленных. Возможно, тот же эсэсовский отряд, прочесавший село, в котором прятался Хименков, оцепил и хутор, где окончательно попали в плен Печенкин и Штейнгардт.

Названия хутора Николай не запомнил, но села, неподалеку от него, ему не забыть. Печенкин прошел через него под конвоем дважды. Еще в первый раз, когда вели их с хутора в Лубны, Петр, обратив его внимание на вывеску: «Средняя школа имени Григория Сковороды», спросил:

— Кто он такой, не знаешь?

— Нет...

А когда гнали их по этому селу уже в многотысячной колонне, из Лубен, Петр, успев расспросить кого-то, объяснил Николаю:

— Это село Чернухи... А Сковорода — знаменитый украинский философ. Он тут родился. Потом всю жизнь скитался, труды свои распространял в рукописях. Его церковники ненавидели, а он — их.

Убитый горем, Николай слушал Штейнгардта вполуха. Он не знал, что слушает Петра в последний раз, а потому всю жизнь будет вспоминать их беглый разговор.

Печенкин многие годы был уверен, что Петр и погиб в Чернухах.

Но пионеры-следопыты из той же школы имени Григория Сковороды на запрос Николая, сделанный им через тридцать лет после этих событий, сообщили, что это произошло не в самих Чернухах, а в полутора километрах от них — на окраине села Ковали, где над

братской могилой расстрелянных ныне возвышается обелиск.

Николай, когда брел в колонне пленных, просто не заметил, как село Чернухи закончилось и начались Ковали.

На большом колхозном дворе, с трех сторон окруженном амбарами, куда их привели под вечер на ночлег, утром объявили во всеуслышание:

— Ахтунг! Внимание! Кто покажет еврея, комиссара или коммуниста, получит свободу!..

И вскоре будто стойку сделал какой-то предатель перед Штейнгардтом, впившись в него острыми глазами. Павлик Хименков еще успел толкнуть Петю в спину:

— Отвернись!

Петр промедлил, а предатель уже вел к нему автоматчиков. Тут же, на дворе, гитлеровцы собрали человек шестьсот и приказали всем раздеваться. Следопыты потом написали Печенкину, что в эту толпу обреченных попали и еврейки из села, одна даже с ребенком, но Николай их тогда не заметил, потому что глаз не мог оторвать от высокой, чуть сутуловатой фигуры Петра. Видел, как друг его, потянув через голову гимнастерку, вдруг замер так, будто она прилипла к его загорелой спине, или он что-нибудь неожиданно вспомнил.

Потом Петр тщательно, как перед старшиной, складывал ее на траве по всем правилам.

Раздетых до нижнего белья пленных гитлеровцы уводили пятерками за амбар, где гремели залпы и автоматные очереди. Наступил миг, когда жандарм с полукруглой бляхой на груди подтолкнул в колонну и Штейнгардта.

Петр успел обернуться в их сторону и скорбно покачать головой на прощание.

— Что же это? Как они могут? — вскрикнул рядом с Николаем Павлик и вдруг замер со слезами на глазах, кого-то увидев: — Вот он, иуда, кто Петьку выдал! Стоит, ожидает награды... Так не жить же и тебе, гад!

Никто не успел Павлика остановить. Колонну тут же стали по частям строить и отправлять в неведомый путь.

Павлика друзья его больше не увидели.

А дня через два после исчезновения Павлика и гибели Штейнгардта Николай попрощался и с еще одним своим другом — политруком Поздеевым, тоже окончившим их курсы.

— Ребята, не нынче-завтра меня обязательно возьмут, — прошептал политрук товарищам, когда они под открытым небом устраивались на ночлег. — Звездочка с рукава хотя и спорота, но след от нее остался. Ко мне уже присмотрелись, чувствую. А прятаться некуда. Вы помоложе. Судьба вас может пощадить. Отомстите за меня и за всех!

Еще в разбитой аптеке горевшего Пирятина Николай подобрал несколько пачек снотворного — так, на всякий случай. Попав в плен, решил: станет невмоготу — проглотит сразу все таблетки и умрет. Когда Поздеева утром схватили и увели, Николай достал снадобье, но, подержав на ладони, опустил в карман, а на ночь проглотил лишь одну таблетку, чтобы уснуть, не лишиться сил. Отчаяние от первых тяжких потерь, от страшной картины расстрела сотен людей, когда хотелось умереть самому, сменилось жгучим стремлением выжить, вырваться из кровавых лап врага, чтобы мстить. «За меня и за всех!» — как просил политрук. Начинался путь от юношеской потрясенности исходом первого боя, фашистским варварством к высшей солдатской и человеческой зрелости, к умению сражаться с врагом и в тех условиях, когда все уже, казалось бы, потеряно.

Пленных гнали по пыльным и еще жарким сентябрьским дорогам в колонне, растянувшейся на три километра. На каждые двадцать пленных — пеший фашист с автоматом наизготовку, на сотню — конный.

Еды никакой, воды — ни капли.

И так до Хорола.

Там пленных сгрудили перед колонкой с тихо журчащей струей, но дали не воды, а по два тухлых соленых огурца.

Их съели, конечно. Голод от «угощения» лишь обострился, а жажда бросила пленных к колонке, где прохаживались немцы с гранатами. Взрывы смели тех, кто хотел напиться.

Колонна таяла с каждым днем. В Семеновке, на сахарном заводе, ночевали под чанами с патокой, и сотни голодных людей, наглотавшись ее, к утру скончались. Гремели выстрелы за колонной — фашисты добивали ослабевших, падали от пуль и в колонне те, кто пытался поднять кусок хлеба, брошенный жителями. И те, кто, не выдержав нескончаемой пытки, бросался на автоматчиков:

— Бей, гад! Бей! Ну!..

Вряд ли надо теперь описывать все, что довелось Николаю увидеть и перенести в фашистской неволе. Пленные, не расстрелянные сразу, без суда и следствия в тех же Ковалях, были обречены на медленную смерть, или, как говорили пленные, на «расстрел в рассрочку». Недаром ныне, узнав, что человек прошел фашистский плен, спрашивают не о том, **что** перенес, а о том, **как** выдюжил, **каким чудом спасся**.

Может, странно, но Николай, отвечая на такой вопрос, припоминает и то, как мальчишкой хаживал из деревни в городскую школу. Мало того, что надо было ходить зачастую в темень, в грязь и в метель, требовалось побеждать и страх перед темным полем и искушение повернуть обратно. И эта, с детства воспитанная выносливость, конечно, ему помогла. Идти во что бы то ни стало — иначе шанса на спасение не было. И Николай шел в колонне пленных, то повиснув на плечах товарищей, то сам поддерживая изнуренных, а жизнь вокруг воспринималась призрачной, отдаленной: все вытеснялось ощущением жажды и голода. Он видел перед собой то последний сухарь, разделенный еще с Павликом и Штейнгардтом, то какие-то крошки, вытряхнутые из карманов брюк, а то сырую, полураздавленную картофелину, поднятую с дороги и съеденную с кожурой, или горсть шершавых свекольных семян, прихваченных в каком-то амбаре. Он подбирал рассыпанное по дороге зерно, которое еще возили с токов, жевал крапиву и лебеду — все, что только могло его поддержать. На ночь проглатывал таблетку снотворного, а чтобы усилить ее действие, крепче уснуть и тем сберечь силы, припоминал из прошлого что-нибудь приятное, да так, чтобы, как учила его мать, оно «не просто привиделось, а снова пережилось». Ведь мама любила повторять:

— Плохое-то выбрасывай, на сердце не клади. Что его беречь? Хорошим дорожи — всегда пригодится!

И он дорожил. Вылавливал хорошее по крупице из зыбкой от слабости памяти. То залитую солнцем ореховую рощу около родной деревни — в ней по непisanому обычаю никто не срывал орехов до тех пор, пока собирать их не выходили всей деревней, дружно, как на сенокос. То видел изгибы речушки Коломенки, за каждым из которых — неповторимый вид. То сельский праздник, когда вся деревня садилась на лодки и зажигала на них фонари. Вспоминал он и синий пионерский костюм — свою первую нарядную одежду. А однажды, засыпая под открытым небом, словно снова услышал веселый стук в их окошко:

— Колька-то где? Калинину он писал?

И представился ему длинный райкомовский стол, а на нем два футбольных мяча и спортивная форма.

Однажды, отбив ноги о тряпичный мяч, написали ребятишки самому Калинину. Мол, и живем не худо, и в школе интересно; даже свою футбольную команду набрали. Одна беда — нет мяча. Не помог ли бы им Михаил Иванович? Вот и ответил им «всесоюзный староста»...

Все вспомнилось Николаю на пыльных дорогах Украины. И создание колхоза, и первый киносеанс, и первый концерт школьного шумового оркестра, и городская школа, где он не просто переходил из класса в класс, а чувствовал, что не один, не сам по себе, что нужен всем, как и все необходимы ему в этой яркой, всегда устремленной к лучшему советской жизни.

До Печенкина доносились разговоры фашистов. Николай открыл, что не только хорошо понимает их речь — учеба на курсах не прошла даром! — но за обрывками фраз, даже за манерой вести разговор, видит весь нечеловеческий строй фашистов, их дикое арийство, их звериную суть. Как уверовали они в свое «превосходство», в «право» нагло топтать чужую землю и жизнь?

Николай слышал названия немецких сел и городов, откуда явились конвоиры. Иногда их вздохи о покинутых семьях. Чаще — разговоры о трофеях, о посылках домой. Или — о вчерашней попойке и о том,

как повеселятся нынче, сдав «русских свиней» другим конвоирам. А всего охотнее фашисты говорили о женщинах, говорили скабрёзно и похотливо.

Конвой менялся от перехода к переходу. Менялись лица фашистов, их голоса, но разговоры оставались теми же. И чем больше убеждался Печенкин в нравственном убожестве «завоевателей», тем отчетливей обретал себя — прежнего. И был в том тяжком шестивии у Николая важный переломный момент, похожий на озарение, когда, подняв голову, он вдруг увидел мир не в трагической сиюминутности, а в перспективе. Поля, села и сами люди, провожавшие их скорбными взглядами, показались другими: он увидел будущее...

Придет час — он это ясно осознал, — фашисты сгинут навечно! Они еще в силе, их конец им неведом. Пока в их руках его, Николая, судьба, он может погибнуть в любую минуту. Но неистребима та жизнь, которую так любил Николай; им не дано ее затоптать!

Обессилел товарищ в колонне — несли на руках. Поймали подброшенный хлеб — делили на всех, хотя бы по крохе. Сначала жители загодя раскладывали на дорогах съестное: хлеб и сало, печеный картофель и кукурузу, даже кринки с топленым молоком. Тогда фашисты стали гнать колонну через села чуть ли не бегом. Но и к этому люди приноровились, стали перебрасывать продукты над головами конвоиров, подсылали мальчишек. И были тысячи взглядов, похожих на вспышки костров в непроглядной ночи. Ими люди наши, советские, как могли согревали воинов, попавших в беду.

«Главное было все-таки не потерять веру в жизнь и в ее смысл, — напишет потом Николай. — Первыми погибали, как правило, те, кто свой личный крах (я имею в виду плен) считал крахом всей жизни, которой был предан... Такие часто сами искали смерти. Конечно, мог погибнуть и любой из нас. На войне, а в плену тем более, никто от этого не застрахован. Но, мне кажется, нытики, маловеры погибали, как правило».

Николай выжил, бежал из плена. Что это было — везение, случай? Может, незачем искать на войне закономерность?.. Но даже если и случай, то до него

надо было дожить, дойти, как уже на последнем пределе сил шел к нему Николай.

Как ни тяжок был двухнедельный переход в Кременчуг, он и сравниться не мог с кошмарами лагеря под открытым и уже дождливым небом октября. Пустырь перед заброшенным кирпичным заводом фашисты разгородили колючей проволокой на сорок клеток, и в каждой из них, кроме одной, пустовавшей, было по тысяче пленных. Это был лагерь обреченных на истребление самым дешевым для фашистов путем. Разве стоила что-нибудь бурда без соли, сваренная из перегнившей пшеницы? А только ее фольксдойче, немцы, проживавшие до войны вне Германии, — разливали пленным из двенадцати деревянных бочек. Один раз в день — по одному полулитровому черпаку. Но далеко не по полному. Кто-то из пленных указал фольксдойче на это и упал замертво от удара кастетом: рядом с раздатчиками «пищи» всегда дежурили эсэсовцы.

Голод изнурял и раздевал пленных. Нашлись спекулянты, которых гитлеровцы за солидный процент подпускали к проволоке.

Сапоги и всю форму Печенкину пришлось по примеру других отдать за хлеб и обветшавшее тряпье. Ему кинули опорки, дырявый тулуп с редкими клочками шерсти, длинные не по росту, залатанные штаны и старый картуз, которым Николай дорожил особо: в него за неимением котелка ему наливали «пищу».

Скоро у Николая раздулся живот и опухли ноги. Его поджидала неминуемая смерть, если не от голода, то от болезней: косила людей жестокая простуда, дизентерия.

И все чаще свистели хлысты с пульками на концах и звучали выстрелы.

Каждый день вдоль проволоки робко бродили женщины, пришедшие с разных концов Украины в поисках мужей или братьев. Они выкрикивали имена и фамилии близких, что-то пытались о них рассказать. Николай почти не вслушивался в эти голоса. Его некому было разыскивать. Но как раз в ту пору, когда томился он в этом лагере, худощавая усталая женщина лет сорока пяти много раз обошла вокруг клеток, из последних сил вопрошая:

— Литвиненко не видели? Кто встречал Литвиненко Владимира Кононовича? Он из Бобровицы, агроном... Служил в телефонно-кабельной роте... Товарищи!.. Кто видел Литвиненко?..

Николай был не в силах помочь этой женщине. Но очень скоро пришло время, когда сама Наталья Александровна Литвиненко сыграла такую роль в его борьбе и судьбе, что он всю жизнь будет хранить о ней светлую память и, рассказывая о подполье, ее имя называть одним из первых.

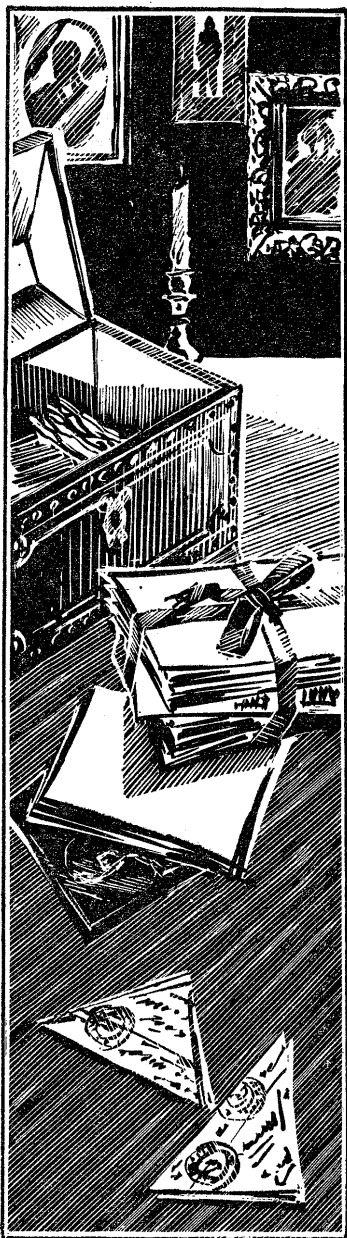
СТАРИННЫЙ ЛАРЕЦ

Эти потускневшие письма, проблуждав в одиночку по свету, не зря собрались семьей — они людскую семью и представляют.

Ничего тут особенного могло и не быть: мало ли семейных реликвий, другим неинтересных? Но, взглянув на даты и почтовые штемпели, прочитав поблекшие строки, все согласятся, что письма эти не просто частные, а и документ времени.

●
25 июля 1941 года

«Здравствуйте, дорогие родные! Сообщаю, что мужа моего Владимира Кононовича мобилизовали в Красную Армию четырнадцатого июля, до сих пор не получили от него ни одного письма. Сын Виктор вчера уехал в Харьков, в бронетанковое училище. Тома, сестра моя, контужена в ноги, когда была в дороге со своей частью, сейчас лежит в Киеве. Я осталась с бабушкой Симой и с маленькими Аликом да Колюнькой... Пишите ответ: Бобровица Черниговской области, Полевая, 2. Литвиненко Наташа».



●

30 июля 1941 года

«Здравствуй, Наталочка! Итак, за пятнадцать дней я с товарищами дошагал до небольшого городка Курской области. Самочувствие удовлетворительное, и ноги в относительном порядке, но идти все-таки было тяжело: делали переходы по 30—35 километров в сутки.

Тут — вы можете ли себе представить? — я встретил... своего брата Всеволода. Он прибыл сюда на лошадях две недели назад и назначен писарем в батальон связи. Я попал в этот же батальон командиром отделения в третьем взводе телефонно-кабельной роты. Батальон наш только формируется, дальнейшая судьба пока неизвестна. Страстно хочется всех увидеть и обнять, но, увы, не знаю, когда это случится. Еще раз и много-много раз целую вас всех крепко-крепко! Ваш папка Володя».

●

3 августа 1941 года

«Здравствуй, мамочка!!! В Харьков доехал я благополучно, хотя было много пересадок. Прошел уже испытания по математике и русскому языку. Диктант написал на «отлично», и пришлось мне даже помогать учительнице проверять работы других.

Уже начали заниматься — по восемь уроков в день. Подъем — в пять утра, отбой — в десять вечера. Тolina и моя кровати стоят вместе, а немного подальше и Сашкова. Правда, три дня назад меня с расстройством желудка отправили в больницу, где я нахожусь и сейчас. Но ты не беспокойся. Ничего страшного нет. Пишу об этом случае только потому, что договорились писать все, что есть — по правде.

Отсылаю тебе уже четвертое письмо, а получила ли ты их, не знаю: от тебя ничего еще нет. Почему ты не пишешь мне, мама? А что слышно о папе? Где он? Писал ли? Передавай ему от меня привет и мой адрес — пусть скорее напишет! Как там наша школа? А урожай собираете? Идут ли у вас дожди? В Харькове — довольно часто.

Если бы вы только знали, как я о вас соскучился! Ведь за мои восемнадцать лет, прожитых с вами, отлучек из нашей семьи у меня на такое время не было.

В январе мы, очевидно, училище окончим — со званием лейтенанта. Тогда и домой заскочу. Хочется все о вас знать.

Целую всех вас крепко-крепко. Ваш Виктор».

●

31 августа 1941 года

«Дорогой наш, родной Витюшечка! Наконец-то позавчера получили твое первое письмо, посланное месяц назад, вчера пришло второе, а сегодня еще одно. Дорогой наш мальчик! Скучаем без тебя мы все крепко, нет той минуты, когда бы про тебя не вспоминали. Патефон без тебя молчит и ждет твоего возвращения... Папка должен был знать, что ты в Харькове. Я ему написала, как тебя снарядила и проводила, как ты себя чувствуешь, и после этого еще три письма ему отправила. Но от него сейчас мы ничего не получаем и не знаем, где он и что с ним. Адрес его я тебе писала во всех своих письмах, а это будет уже пятое.

У нас дома пока все благополучно. Все здоровы. Вчера приехала к нам Томка, целует тебя. Думаем, что скоро уж ты начнешь получать от нас письма, а если их и не будет, не беспокойся за нас, береги себя, будь благоразумным. Витечка, родной, пиши нам о своей жизни подробнее, хочется все знать о тебе. И когда будешь писать о себе, пиши и про Сашку, раз вы с ним вместе, а он пусть пишет про тебя, чтобы мы с его мамой всегда все знали про вас, дорогие наши детки. Сашкова мама часто ходит ко мне, я же с Аликом к ней. А Толину маму мы проводили на ее родину, в Ахтырку. Твой, 1923-й год на днях весь призвали. А мы завтра идем в школу на занятия... Ну, целуем же тебя крепко-крепко, наш милый, дорогой, ненаглядный! Будь здоров! Пиши! Твоя мамка Наталка».

●

С виду письма эти еще без военных примет, и даже не треугольниками. Сыновнее — на листках из запис-

ной книжки, по ним торопливо побегала авторучка. Мамины — на тетрадных, в косую линейку, крупно написанных школьным пером. А отцовские — химическим карандашом на простой почтовой открытке. Но для меня эти письма как моментальные портреты, а вернее, как живые силуэты людей любящих, непривычных к разлукам, но уносимых крепнущим шквалом войны все дальше друг от друга. Письма эти — завязка одной из миллионов военных драм. О ней рассказал мне тот самый Витя-Витюшечка, который в сорок первом, будучи восемнадцатилетним курсантом, так ожидал в Харькове весточки от мамы. Ныне он — гвардии майор в отставке Виктор Владимирович Литвиненко.

Однако знакомством с этими письмами я больше обязан все-таки не майору, а дочери его — Наташе. Это Николай Печенкин рекомендовал мне разыскивать его подольских друзей, начиная с нее: Наташа, по его словам, не просто живет в Москве, а «у всей Москвы на виду», — заведует отделом школьной молодежи в столичном горкоме комсомола. И разве мог я не поспешить туда, коли и сам в первые послевоенные годы работал в том же старинном особняке: Колпачный переулок, 5?..

Дубовую парадную дверь здесь теперь заменили на стеклянную, легкую, но открывать мне ее было, пожалуй, потяжелее, чем в ту, мою комсомольскую пору. Тогда открывали обкомовскую дверь фронтовики, еще не износившие военных кителей и шинелей. О них, теперь уже поседевших, в тогдашнем моем дневнике остались — увы! — беглые из-за вечной спешки заметки:

«Оля — старшая пионервожатая, демобилизована в сорок пятом. Две боевые медали и никакой специальности. Райком направил ее в школу, заставил заочно учиться. Сейчас творит с пионерами чудеса».

«У Анатолия глуховатый голос, бисеринки пота на кончике носа, хриловатое покашливание — открытый туберкулез легких. Это и заставило думать о замене его и лечении. С фронта вернулся по ранению в сорок четвертом и сразу был избран секретарем райкома. Особенно доставалось в так называемые дни повышенной угледобычи — они в Мосбассе проводились частенько. По ночам Анатолий водил из города на под-

шефную шахту по двести — триста комсомольцев. Днем ребята трудились на заводе, а ночью на шахте, причем по восемь километров туда и обратно ходили пешком. И Анатолий, конечно, с ними, но с одним отличием: рабочие — по разу в неделю, а он с разными группами — почти ежедневно».

«Николай, рекомендуемый вторым секретарем райкома, пришел из армии с тремя ранениями — в грудь, в голову, в руку. Говорит, что в сырую погоду «тело разваливается на части». Будучи секретарем на заводе, воспитывал личным примером. Врачи ему запрещали ходить на лыжах, а он, чтобы увлечь ребят, ходил и добивался высоких результатов».

Такие вот парни и девушки ходили тогда по коридорам и кабинетам старинного особняка, дымили махоркой, с трудом высиживали на совещаниях: у всех «горели» дела и всех плюс к тому ожидали книги — все были заочниками в институтах. Они работали, как в страду, от зари до зари, с головой уходя в человеческие беды и заботы. Иначе было нельзя: покалеченная войной юность нуждалась в тепле и внимании.

И все они, мои «однопольчане» по комсомолу, не просто вспомнились мне в том старом особняке, а будто сгрудились за спиной, заставляя смотреть вокруг себя их тогдашними глазами: «Как тут нынче?» Они словно вошли со мной и в кабинет, где высокая, стройная девушка со смуглым лицом, с модным шарфиком на свитерочке поднялась из-за рабочего стола и протянула руку:

— Литвиненко. Наташа. Только бумаги в стол уберу. Накопилось. В Финляндию уезжала. А сейчас на бюро горкома готовим вопрос. Работы — прорва. В Москве ведь теперь тысяча школ...

— Пока на работе, о Подольске, кажется, не думаю, — призналась она уже на Курском вокзале. — Но только побегу на электричку — одна мысль: скорее к родителям! Вдруг страшно за них становится, особенно за отца. Отвоевался он сполна: на западе — с немцами, на востоке — с японцами. А война ему, можно сказать, и еще один фронт оставила — пожизненный: горевать о безвозвратных потерях. Вам Печенкин рассказывал? Вы меня понимаете?

— Да...

От поездки осталось в памяти ощущение движения — движения поезда, времени, жизни: Наташа рассказывала мне о себе и родителях.

Мама Наташи — сибирячка, отец — с Украины. По-знакомились еще в годы войны в подмосковном городке — на переформировке их частей. Поженились на Дальнем Востоке, после разгрома Квантунской армии. В Китае, за неимением загса, их брак «зарегистрировал» полк: младшего лейтенанта Анну Кривоносову и старшего лейтенанта Виктора Литвиненко поставили перед строем и сердечно поздравили. А расписались молодые супруги позднее, когда оформляли свидетельство о рождении дочери.

Втроем кочевали по дальневосточным гарнизонам — до того грустного вечера, когда отец не вернулся домой. Прямо со службы отвезли его в госпиталь: в тридцать три года — инфаркт. По совету врачей пришлось ему оставить службу, а Дальний Восток сменить на подмосковный Подольск, где жили родственники. Но сидеть без работы, пенсионером, Виктора Владимировича заставить и не пытались. Всю жизнь он начал сызнова. Приобрел заводскую специальность, к сорока годам окончил вечерний техникум, стал мастером в цехе, а к пятидесяти снова круто повернул свою жизнь. Его как заядлого охотника завод рекомендовал в председатели Подольского межрайонного общества охотников и рыболовов. Жена обрадовалась, думала, новая работа будет поспокойнее заводской. Для кого-нибудь оно, возможно, так и есть. Но не для Виктора Владимировича. Когда отчитался он за первый срок работы на новом посту, все ахнули, как много хорошего сделано. Кончилось приволье для браконьеров, полсотни охотничьих коллективов зажили интереснее. Из отстающих общество вышло на одно из первых мест в области. Со здоровьем Виктора Владимировича дается все это, конечно, не просто. Но, на счастье, рядом уже без малого тридцать лет — жена. Бывший фронтовой санинструктор, она теперь — одна из лучших сестер заводской больницы.

Наташа ценит своих родителей еще и за то, что они при всех переживаниях за нее, единственную дочь, никогда не стесняли ее свободы. Поступила в институт, надумала жить в общежитии — поняли. С «трудными»

подростками возилась чуть ли не сутками — терпели. Девятнадцати не было, когда горком комсомола послал ее в длительную командировку, — отпустили.

Наташа рассказала мне все это разом, как анкету в один присест заполнила, а потом повернулась к окну и умолкла, будто серая лента Москвы-реки, промелькнувшая в этот момент за окном электрички, подвела, как говорится, черту под разговором. Но с одной стороны проплыли знаменитые церкви Коломенского, с другой распахнулись царицынские пруды с руинами дворца в старинном парке, и Наташа, кивнув в ту сторону, вдруг призналась:

— Я себе иногда такой же древней кажусь... — И засмеялась: — Нет, пожалуй, все-таки, помоложе. Есть в доме нашем бумага: старинный писарский почерк и церковная печать. А в бумаге знаете что? Слушайте...

Передохнув для храбрости, Наташа понизила голос и наизусть прочитала:

«По Указу Его императорского Величества самодержца Всероссийского... Выпись из метрической, об умерших, книги Орловской римско-католической церкви. 1872 года августа 10 дня в городе Орле скончался Титулярный Советник Сколковский от холеры, был причащен Святым таинствам... Оной церкви прихожанин, имел от роду 47 лет, оставил после себя сыновей: Станислава, Александра и Николая, дочерей: Екатерину, Марию и Анну. Тело его Военный капеллан и курат Орловской римско-католической приходской церкви ксендз Бенигнус Липень 12 августа сего 1872 года на приходском кладбище похоронил...»

Долго удивляться Наташиной памяти мне не пришлось. Один из трех сыновей титулярного советника, а именно Александр Сколковский, женился, как сказано в другой церковной бумаге, на «орловской мещанской дочери девице Софии Егоровой». Их старшая дочь, в замужестве Наталья Александровна Литвиненко, ее, Наташина, бабушка. В память о ней Наташе и имя родители дали.

В дебри казенных архивов ради своей родословной Наташа, хотя и историк по образованию, не забиралась. Но есть у них дома старинный плетеный ларец. Он остался от бабушки. В нем и эта «выпись» столет-

ней давности, и уйма других семейных бумаг, фотографий, писем — для кого-то, возможно, архивных, мертвых, а для нее, для Наташи, близких, увлекающих ее в вечный, никогда не стареющий мир умных и добрых людей. Все они, Наташины предки, были, начиная с прадеда Александра Сколковского и жены его Софьи Егоровой, сельскими учителями, врачами, ветеринарами и агрономами — представителями трудовой, народной интеллигенции.

Рядом с бумагами конца прошлого и начала нашего века в ларце ныне хранятся и письма военных лет, а среди них то, единственное, что получил от матери Виктор Литвиненко в сорок первом году и пронес через две войны.

В своей квартире, у открытого старинного ларца, где и завершился начатый еще в электричке наш разговор с его дочерью, Виктор Владимирович с грустью сказал:

— Не прощу себе никогда... Из училища написал маме о пустяковом расстройстве желудка, как будто ей и без того тревог не хватало...

Так говорил он, пятидесятилетний гвардии майор в отставке, о письме, написанном им в восемнадцать. А что думал тогда, курсантом, когда пришло к нему единственное материнское послание?

Оно нашло Виктора Литвиненко уже не в госпитале и не в училище. Курсантам выдали оружие, медальоны, и стрелковый полк отправился на защиту Харькова. Им еще удавалось держаться вместе, трем землякам и недавним одноклассникам, — Саше Носачу, Толе Моисееву и Виктору Литвиненко, — трем друзьям, для которых, как считали в школе, и пел в фильме «Трактористы» Николай Крючков знаменитую песню: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой...»

Что касается Виктора, то эта песня определенно укрепила его желание поступить в бронетанковое училище, если не считать и того, что смотреть «Трактористов» пригласила одноклассника самая красивая девушка во всей Бобровице — Лида Данильченко. Она же после картины сказала ему:

— Вот жизнь — движение и натиск! Нравятся мне танкисты!..

— И мне! — вдруг открыл для себя Виктор.

Друзья из Бобровицы, приехав в Харьков, ухитрились попасть в одну учебную роту, в казарме занять соседние койки, рядом ходить в строю.

Когда Данильченко уехала в пединститут, в Нежин, она прислала Виктору коротенькое письмецо. Прислала не домой, хотя адрес Виктора прекрасно знала, а на класс, и не в конверте, а незаклеенным треугольничком, словно для того, чтобы все прочитали слова, лишившие Виктора сна:

«Здравствуй, дорогой Витя!!! — От одного обращения и трех восклицательных знаков он чуть с ума не сошел. И казнил себя от ее упрека. — Почему не пишешь? Не знаешь, с чего начать, правда? Вот тебе и друг! Если бы я тебе не писала два года, ты бы тоже молчал, наверное, — так? Нехорошо!..»

Но главное заключалось в двух фразах, похожих на ласковый шепот: «Мне кажется, если бы я приехала домой на пятнадцать минут, то восемь из них провела бы с тобой. Я думаю, тебе это ясно...»

Виктор сразу показал письмо матери. Она задумалась. Потом, взглянув на сына, сказала:

— Красивая девочка! Я давно ею люблю. Искренняя, смелая...

Приезжая из Нежина, Лида, как и обещала, первым делом спешила к Виктору. Зимой они ходили на лыжах, летом катались на велосипедах. Когда Виктор уезжал в Харьков, она пообещала писать не реже двух раз в неделю. И с него взяла такое же обещание. И он писал — даже чаще, а от нее не получал ни строчки. Но верил — дождется. До тех пор верил, пока не замелькали в сводках места восточнее Бобровицы, а курсантов вдруг побатальонно не отвели с позиций и пешком не отправили на Валуйки. Они долго шагали, а потом ехали в эшелоне, чувствуя, как удаляется отчий край. Училище перебазировали в Самарканд.

Оттуда попали они в завьюженный Киров, на танковый завод. Сотни молодых лейтенантов встали на сборке рядом с рабочими. Монтировали бортовые передачи, фрикционы, опорные катки. На скудном пайке, в летней одежде работали в нетопленных цехах по двенадцать часов и прямо с завода провожали на фронт один танковый батальон за другим. Тут Виктор

и распрощался с Сашей Носачем и Толей Моисеевым: друзья уехали на фронт раньше его. А Литвиненко будто специально держали до тех пор, пока не пробил час освобождения Украины.

Виктор участвовал в танковых сражениях на Орловско-Курской дуге, а потом с пятым гвардейским Сталинградским корпусом из русских степей ринулся освобождать украинские. Даже и пожелай, не смог бы он прочертить путь к родным местам короче того, каким шел их корпус. За Обоянью с Курской земли — на Белгородскую. По ней — через Томаровку, Борисовку, Грайворон — на Сумщину. И не заметил Виктор, как курский и орловский говор сменился украинским, русские избы — хатами, а тополи обыкновенные — пирамидальными.

Воевал Виктор на легком танке Т-70. Эту машину танкисты любили за маневренность и высокую проходимость, она была незаменима в разведке и в боевом охранении. Но в бою требовала напряжения всех сил. Экипаж — два человека: механик-водитель и командир. Водитель занят только одним — он ведет танк. А командир — всем остальным. Он сам заряжает пушку и пулемет, сам стреляет, следит за рацией, чтобы не прозевать маневр взводного или ротного, а по ТПУ — танковому переговорному устройству — руководит водителем. После боевого рейда только и хватало сил, чтобы упасть и уснуть. По-настоящему близость дома он почувствовал лишь в тот день, когда получил задание действовать в направлении Ахтырки: сразу вспомнил, что туда в начале войны переехала мама Толи Моисеева.

Под вечер, уже после боя, посадив к себе, в Т-70, друга с подбитого танка, Виктор долго колесил по незнакомой Ахтырке, но все же разыскал хату, где мама Анатолия приютилась с малышами. Виктор рассказал ей о друге, что знал, а на прощание попросил:

— Освободят Бобровицу, напишите моей маме, что видели меня. Я, конечно, напишу и сам, но вдруг...

Так и попали в ларец еще два письма. Первое — от Моисеевых:

«Дорогая Наталья Александровна! Наконец-то и Вас можно поздравить с освобождением от гнета гитлеровцев. Теперь уже наше преимущество! Мы, то есть

Ахтырка, окончательно освободились 25 августа. Кроме того, могу еще поздравить Вас с тем, что до пятого сентября 1943 года Ваш сын Виктор был жив и здоров. Он возмужал, вырос, окреп, а в тот день был у нас проездом, на танке. Ночевал с товарищами, посл и поехал в направлении Полтавы. Он в чине лейтенанта. Пилотка прострелена, но сам ранен не был. Про Анатолия слышал, что ранен на Воронежском фронте в ногу и лежал в госпитале. Я же вообще ничего о своих не слышала и не знаю. Моя старшая дочь Анна в Красной Армии, зенитчица. Муж тоже — с 1941 года. Я живу с двумя своими меньшими и с отцом. Сейчас работаю в райфинотделе. А пишу Вам по просьбе Вити. Отвечайте скорей. Евдокия Моисеева.

И — письмо Виктора:

«Здравствуйте, мои дорогие, ненаглядные! Узнав об освобождении нашей родной Бобровицы, я сразу отправил Вам письмо. Сегодня пишу третье, не зная, получили ли первые... Сообщаю еще раз, что нахожусь в действующей армии, освобождаю родную Украину. К военной жизни целиком и полностью привык, так что обо мне не беспокойтесь. Стою сейчас недалеко от Вас. Будет возможность, обязательно постараюсь захватить домой. Как Вы все, дорогие мои, живете? Как твое самочувствие, мамочка? Как бабушка Симура? Как Алик и Коля? Они, наверно, уже такие большие, что не узнать. А как тетя Тамара? Дома она или в Киеве?.. Как папа? Сообщи мне, пожалуйста...»

И еще с неделю он писал домой почти ежедневно. И все письма его дошли, но уже после того, как Виктор сам побывал в Бобровице. Суждено ему было узнать о трагедии своей семьи не из писем, не в отдалении, а стать со своей великой бедой лицом к лицу. Он и домой мог бы попасть на танке: под Гадячем стало понятно, что началось наступление на Киев. Фашистов гнали так, что пехота успевала за ними только на машинах или на танковой броне. Там на машины Виктора и друга его Игнатьева посадили столько десантников, что танки вышли из строя. Десантников подхватили другие танкисты. До Бобровицы какая-то сотня километров, а Виктору надо было ожидать, когда танк отправят на ремонт. Выручил друга лейтенант Игнатьев. Он упрямил заместителя коман-

дира корпуса по инженерной части поручить ему одному эвакуировать оба танка, а Виктора хотя бы на денек отпустить домой.

Поймать машину на Киев труда не составляло. Шофер, ехавший в Бровары, готов был подвезти танкиста до самого дома, но Виктор не стал его задерживать, решив пятьдесят километров от Барышевки до Бобровицы пройти пешком. Он шагал по проселку в Новую Басань, родное село отца, где рассчитывал заночевать. Шел один. Ни одной машины не встретил. Километров через пятнадцать перед самым лесом стемнело. И это бы Виктора не остановило — так спешил он к родным! Но какой-то старый хуторянин, дав лейтенанту напиток, наотрез заявил, что на ночь глядя его не отпустит. В лесу, где недавно была партизанская база, теперь могли скрываться полицаи и даже фрицы.

К Новой Басани Виктор отправился на рассвете. Издалека услышал он колокольный звон. Подстегнутый им, до села бежал, не переводя дыхания, и остановился как вкопанный, узнав от первого встречного, в чем дело:

— У нас похороны. Немцы тут триста человек живьем во рву закопали. Вот их и хороним...

Звон этот раздавался в ушах танкиста и после того, как перестали бить в колокола. Из Новой Басани Виктор шел к Бобровице уже через силу: родные сообщили ему, что среди погибших во рву его двоюродные брат и сестра, что дома он не найдет ни отца — пропал без вести, ни матери, ни Тамары: сестры, с начала войны неразлучные, вместе попали и в фашистский застенок.

Плыл в ушах звон. И не было у Виктора ни слов, ни мыслей, ни слез.

В Бобровице, подойдя к родному дому, он первой увидел свою бабушку Серафиму — Симуру, как звали ее в семье. Старушка сидела на крылечке. Она не узнала его. Даже когда Виктор неуверенно спросил:

— Мне можно тут переночевать?..

— Не знаю... — ответила старушка и крикнула в сени: — Всеволод Кононович! Тут лейтенант. На ночлег.

Брат отца, увидев племянника, не смог удержаться от слез. И все для Виктора утонуло бы в безутешной скорби, не прибеги откуда-то братишки Алик и Коля. Они вцепились в Виктора и не отпускали его от себя ни на шаг в те короткие и горькие часы, что танкист пробыл дома. Мальчишек словно знобило, а Виктор гладил их головы и как мог утешал:

— Ничего! Еще есть надежда. Будем верить! Никто же мертвыми их не видел — ни отца, ни маму, ни тетю Тамару. Они вернутся — увидите!

Он еще и сам верил в это. Спрашивал в каждом письме с фронта: «Нет ли вестей о наших?» Ждал и после войны. Растил младших братьев и все надеялся на чудо.

Чуда не произошло. Но разве можно сказать, что родные его исчезли бесследно, если о мужестве их, о верности Родине, о стойкости, о душевной красоте до сих пор вспоминает вся Бобровица?



ДВЕ СЕСТРЫ

Осенним утром сорок первого года по пыльным улицам Бобровицы рослый парень лет девятнадцати, длиннорукий, с тяжелой отвисающей челюстью, Иван Семпокрыл, а по кличке Бугай, вел под ружье пожилую сухощавую женщину, простоволосую, в двубортном, мужского покроя, пиджаке. Он вел ее с окраины городка, с улицы Полевой, за которой начиналась степь, к центру, вел серединой улиц, чтобы видели все. Вел как пленницу, но в спину ей бубнил чуть ли не проситель-но:

— Шагайте скорее, Наталья Александровна. Новая власть, вы лучше меня понимаете, аккуратная. Приказано вас привести к семи утра, значит, мы и должны быть в комендатуре в семь. Чего вы мучаетесь — не понимаю! Вам теперь и козыри в руки. Мне бы немецкий знать, устроился б — кум королю. Я бы пану коменданту на всех глаза поткрывал. А то смотришь на переводчика, как ба-ран, и гадаешь, то ли он твои слова передает, то ли

против тебя же несет... Вы уж, Наталья Александровна, будьте ласковы, за меня доброе словечко пану коменданту замолвьте. Скажите, мол, верный человек Иван Семпокрьл. Обижали его раньше, бездельником считали... А новой власти я человек преданный: она меня сразу признала. Нужны ей только сила да старание. А силы у меня, вы знаете, — на троих. Ни один ваш комсомолец против меня не сдюжит. Только я справедливый. Зря не обижу. Вот Виктор, сыночек ваш, и комсомолец, и танкист. А я коменданту так доложил: «Это еще ничего не значит: приказали — пошел. Куда деваться?» Или ваша сестра Тамара Александровна... Как я немцам рассказал, что вы им в переводчицы очень подходите, они стали меня обо всем спрашивать — и о сестре вашей тоже: с чего вдруг, мол, она, нездешняя, сюда прикатила? Что ж!.. Я бы мог сказать, что видал Тамару Александровну в форме майора, когда она на финскую войну уезжала и с вами прощалась! А ведь не сказал. Даже под защиту ее взял: мол, муж у нее Советской властью арестованный, мол, обижена она...

— Семпокрьл! — лицо женщины дрогнуло. — Ты б не трогал, Семпокрьл, ни сына моего, ни сестру... Не поганил бы их своим языком...

— Не поганил?! — Бугай даже приостановился, а потом заорал: — А ну, шагайте веселей! Сами сказали коменданту, чтоб вас под конвоем вели! Вот и идите!..

И она шла. Что же еще оставалось ей делать — учительнице немецкого языка Наталье Александровне Литвиненко?..

Бугай заявился к ней вчера, рано утром, когда Наталья Александровна проводила сестру Тамару на работу в больницу. От самой калитки заорал:

— Эй, Литвиненко! Вы дома? Собирайтесь! Вас пан комендант к себе кличет!

Узнав голос Бугая, Наталья Александровна сначала не очень встревожилась: Иван мог что угодно выдумать и перепутать. Считался он в Бобровице не то чтобы слабоумным, а, как говорится, без царя в голове, — всерьез его люди не принимали. Он еще подрост-

ком отбился от школы. Нигде до войны постоянно не работал, а так — иногда подрабатывал себе на водку: то скот пас, то на станции вагоны разгружал.

Кое-кто в Бобровице жалел Ивана, как жалеют убогих и нищих, хотя Иван к ним не относился. Просто жалкую выбрал он для себя жизнь, темную и беспутную. В городке его опасались: под пьяную руку грозился он одного — убить, другому — хату спалить. Но Натальи Александровны, как бывшей своей учительницы, Иван стеснялся.

Потому и в то утро, она, набросив на плечи шаль, собралась уже выйти к Ивану, чтобы пожурить за неуместный крик под окнами. Но Иван, опередив ее, ввалился в хату, и Наталья Александровна обомлела: Бугай пришел с винтовкой в руках. Скаля зубы, он дал себя рассмотреть, а потом, прислонив трехлинейку к комоду, достал кисет и повторил:

— Так собирайтесь, тетка Наталья! Живо! Пойдете со мной!

Она смотрела еще не столько на него, сколько на винтовку.

— Ты где ее подобрал, Иван? Она ведь, по-моему, настоящая. Ты не шути, раз в год, говорят, и кочерга стреляет.

— Хо-хо! Настоящая... Еще бы!..— Иван зажал в зубах свернутую цыгарку и раза три щелкнул затвором, выбросив на пол новехонькие патроны. Алик с Колей кинулись к ним, как к подаркам.

— А ну, прекрати, Иван! — Наталья Александровна задержала детей.— Это не шутка!

— Да уж, конечно!..— осклабился Иван.— Когда нас водили на стрельбище, я выбил больше всех полицейских.

— Ты стал полицаем?! — Наталья Александровна наконец все поняла.

— Уже третий день! — Иван пыхнул цыгаркой.— Собирайтесь!



Наталья Александровна смутно представляла, что творится в Бобровице. Жизнь остановилась для нее на тех минутах, когда проводила она из дома снача-

ла мужа, а потом и старшего сына. Раньше в двух маленьких комнатках им шестерым было тесно. А как ушли в армию муж и старший сын, квартира стала казаться Наталье Александровне пустыней. Хоть криком кричи на весь свет от одиночества.

Другие хлопотали об эвакуации, а ей об этом и думать нельзя было: милая Симура, Серафима Алексеевна, заменившая им с Тамарой рано умершую мать Софью, в трудную дорогу уже не годилась. Не только из-за старости. Когда-то она сломала ноги, кое-как выжила, но ходить могла, только передвигая впереди себя кресло. А тут еще двое малолетних детей...

Оставалось положиться на волю судьбы. И она на первых порах шагнула навстречу Наталье Александровне.

«Вчера приехала Томка», — написано в ее письме сыну. А случилось это как раз в тот вечер, когда, уложив спать мальчиков, Наталья Александровна с этим еще не дописанным ею письмом перебралась к подоконнику, чтобы, не зажигая огня, писать при лунном свете. И почти в ту же минуту от калитки донесся до нее стон, а потом и негромкий зов:

— Наталка?! Сюда! Помоги!..

У Тамары, ее младшей сестры, еще хватило сил толкнуть калитку, но перешагнуть порог она уже не смогла и, быть может, свалилась бы, не повисни на изгороди.

— Контузило меня, Наталка, когда отступали, — объяснила Тамара. — А плюс к тому и печень так разыгралась, что хоть на стенку лезь... Спасалась уколами. Потом госпиталь срочно стали эвакуировать. А я — куда? Совсем больна я... И разве я бы смогла уехать, не повидав вас и своего Колюньку? Из армии меня списали: калека. А здесь могу еще пригодиться местной больнице. И — вам всем! Настал тот час, Наталка, когда нам снова надо быть вместе!..

За два года до войны, будучи дивизионным хирургом, прислала Тамара Александровна сестре ко дню рождения книгу, окружив ее заглавие на титульном листе затейливой надписью: «Моему лучшему другу, моей мамочке, моей любимой сестре дарю «Исторический комментарий к литературному русскому языку». Подходит для твоей работы? Очень хочу угодить. Томка!»

Наталья была не просто старше Тамары на четыре года, но и по-матерински ответственной, осмотрительной. Тамара — порыв и нетерпение — всегда и во всем полагалась на сестру. Так было и в их гимназические годы, и после, когда зажили сестры самостоятельно. Старшая как вышла замуж за агронома Владимира Литвиненко, так словно на надежном корабле обосновалась, неспешно передвигаясь с семьей за мужем из совхоза в совхоз, — в пределах одного Бобровицкого района. И делом занималась одним — учительствовала. Все любили супругов Литвиненко. Они ни разу за совместную жизнь не поссорились. Потому для многих, а прежде всего для Тамары, их уютный дом всегда был надежной пристанью, где можно перевести дух после жизненных бурь.

А бури подхватили Тамару сразу по выходе из гимназии, в девятьсот восемнадцатом. Со знаменитым Таращанским полком прошла Тамара Сколковская через занятую немцами Украину на север, в так называемую «нейтральную зону» (по Брестскому миру), где создавались уже советские полки и дивизии. Оттуда ходила она лазутчицей за немецкие и гайдамацкие заставы, держала связь с большевистским подпольем. Ее ценил Щорс. А к отцу, в Щастновку, возвратилась Тамара лишь после того, как Киев стал советским. Возвратилась не одна.

Рядом с ней встал перед ее отцом красивый, стройный брюнет лет двадцати.

— Знакомьтесь: Нёмка — мой муж...

— Кто, кто?

— Нёмка, — пожала плечами Тамара.

— Томка и Нёмка! — подхватил брюнет и весело рассмеялся.

Отец только рукой махнул. А в захолустном Козельце, где молодые на первых порах обосновались, еще долго ходили суды да пересуды:

— Русская вышла за еврея! Дожили!

И в другом конце:

— Зачем ему эта русская? Надругался над верой...

А пара оказалась на редкость хорошей. Тамара, окончив мединститут, стала искусным хирургом. А он, Вениамин Наумович Ласкавый, — заместителем губернского комиссара здравоохранения: сначала в Чер-

нигове, а потом и в Киеве. Был наркомом здравоохранения Молдавии и заместителем председателя Киевского горсовета. Последняя служба его — заведующий Киевским горздравом.

Но в семье Литвиненко они с женой всегда оставались Томкой и Нёмкой — особенно для детей. Агроном попытался как-то пожурить Виктора за фамильярность, но гости сами в голос потребовали:

— Только — Нёмка! И только — Томка! Никак иначе!

В войну отношения между сестрами изменились: за старшую в доме стала Тамара Александровна. Партизанка гражданской войны, а потом военный врач, она быстрее освоилась в новых условиях. Как приехала, сразу стала работать в местной больнице, оперировать раненых. Когда через Бобровицы прошел фронт, подобрала с фельдшером Анной Качер, знакомой еще по гимназии, больше тридцати наших раненых бойцов и офицеров и укрыла их — кого в больнице, выдав за местных крестьян, кого по домам. Будучи единственным хирургом больницы и при оккупантах, Тамара Александровна основала по существу целый подпольный госпиталь. Она заботливо лечила раненых, вместе с другими патриотами собирала для них продукты. Как только грозила проверка, она прятала раненых понадежнее в домах, а на одну из палат вешала табличку: «Тиф!» Непрошенных гостей надпись сразу отпугивала. С первых дней оккупации Тамара узнавала где-то советские сводки, раздобыла себе пистолет, часто встречалась с жителями других сел. Старшую сестру в свои дела не втягивала, поручив ей детей и бабушку.

Наталья Александровна почти не выходила на люди. Да и незачем было. Школу заняли под общежитие полиции. Магазины не работали. Жизнь, недавно по всему своему укладу цельная и единая, теперь дробилась на замкнутые мирки.

К ней в дом по-прежнему приходили люди. Потому и в Иване Бугае Наталья Александровна увидела сначала лишь непутевого, но своего парня, которого можно и приструнить. А когда наконец все представилось ей в неотвратимой действительности, она, сбиваясь на шепот, спросила:

— Меня-то зачем туда? Не знаешь, Ваня?

— Я-то? — Иван рассмеялся.— Все знаю! Да говорить не велено!

— Иван! Скажи... Пожалуйста!

— Ладно! А то перетрусите прежде времени. Вам же только радоваться! Лафа образованным. Только я вам, чур, ничего не говорил — идет? Так вот: вы будете теперь при коменданте! Это я все устроил! Личной его переводчицей!

— Я?! Личной?!

— Да чего вы за голову-то схватились?..— совсем развеселился Бугай.— Про шуры-муры подумали? На это не надейтесь! Опоздали! При нем уже Ольга Олишева кухаркой устроилась и свою двуспальную кровать с периной в его комнату перетасила. Все знаю,— сам помогал!

— Какая Олишева?! Она-то при чем?

— Не знаете Ольгу? В столовой работала. Прикидывалась дочерью беднячки: мол, помещик Катеринич мать соблазнил и из дому выкинул. А теперь все наоборот: представляется законной дочкой помещика и вроде бы за это ее Советская власть обижала! Ловкая баба! И коменданта сразу охмурила!

— Постой!..— Наталья Александровна еще надеялась выкрутиться.— А ты передай коменданту, что я очень больна... Правда! Или что от детей не могу отойти, от больной старой бабушки.

Но Иван на это снова лишь развязно осклабился:

— Сможете! Сами побежите, коли все расскажу...

— Все? А что ж еще-то? Ты уж договаривай...

— Ладно! Комендант сам хотел вам сюрприз преподнести. А ведь я все обделал-то! Вы это учтите, только ему ни гу-гу. Я о вас и не думал, когда нас в полиции спрашивали, не знаем ли мы, кого из здешних в переводчики можно взять. Они уже привезли из Рудьковки Маруську Нагогу: десятилетку окончила, знает немецкий. Вот я и стал думать о молодых. А потом в райуправе, у старосты Зазимко, увидел какого-то оборванца — из пленных. Я на него нуль внимания: много их бродит! А Зазимко меня и спроси: «Был у вас тут агроном Литвиненко? Дети у него и жена». Зазимку-то раскулачили и выслали лет десять назад. Откуда ему про вашего мужа знать? На ваше счастье, я в

ту минуту при нем оказался. Этот, из пленных-то, уже уходил: ему в лагере наказали и в другие села зайти. Так вот он велел передать: муж ваш жив!

— Володенька? Жив? Это правда?

— Да. Только в плену он. И хворает. Этот дядька сказал, надо вам спешить в Кременчуг. Лагерь там около кирпичного завода. И мужа вашего отпустят, если наш комендант даст записку.

Наталья Александровна вроде бы и не теряла сознания, сама добралась до кровати Симуры. У нее только все отнялось, и она прилегла, думая об одном: «Надо срочно идти к Володе. Надо...» И все-таки был в ее памяти какой-то провал, потому что, когда она открыла глаза, Бугая уже не было. Учительница подумала: «Скорей надо к Томке, в больницу...»

Но раньше чем она собралась к сестре, с улицы вбежал перепуганный Алик:

— М-мам!.. Т-т-т-там фашист... Т-т-там машина... М-м-мотоциклы...

Восьмилетний сын трясся от испуга и заикался. Тем и заставил Наталью Александровну побороть слабость и взять себя в руки. Подойдя к окошку, она действительно увидела и мотоциклистов, и небольшую серую машину с одной широкой дверцей. Из машины, тяжело дыша, вылез толстяк лет пятидесяти и направился к калитке. За ним шли два автоматчика.

Наталья Александровна вышла на крыльцо и встала перед дверью, всем видом своим показывая, что пришельцам лучше остановиться. И немец остановился шагах в десяти от нее, не вынимая изо рта сигары, хриловато, но внятно проговорил:

— Фрау Лерерин? Мне передали, вы больны. А я подумал, что помогу вам поправиться, если скажу: в ваших руках спасение вашего мужа! — Первые фразы комендант произнес с холодной учтивостью, а потом вдруг сорвался на крик: — Да, да! Вы меня поняли?! Вашего мужа! Он у нас в плену! В Кременчуге! И я даже дам вам машину его привезти! Только одно условие! Вы понимаете меня, фрау Лерерин?

Она кивнула, притронувшись к горлу, так, словно оно вдруг заболело, медленно проговорив:

— Какое условие?.. И прошу вас потише! В доме дети и очень старая женщина.

— О! У вас довольно чистая речь! — обрадовался немец.— Тихий голос — это хорошо! Потому что у меня очень громкий! — И он будто в подтверждение этому снова закричал: — Мне нужен хороший переводчик! Я мог бы приказать привести вас в комендатуру и насильно: время, фрау Лерерин, военное! Но мы — интеллигенты, и мне нужен честный добровольный помощник. Мы будем торговаться?

— Мы не будем торговаться,— чуть слышно возразила она.— Я не умею. Скажите ваши условия.

— Хорошо! Я предлагаю вам работу в нашей сельскохозяйственной комендатуре. При ней мы уже создали земельную управу, целиком из украинцев, они знают вашего мужа. Возвратясь, он сможет устроиться на работу...

— Но...

Она сама не знала, зачем перебила его, может, потому, что слишком много на нее всего обрушилось. А комендант вдруг рассвирепел:

— Но вы научитесь сначала не перебивать, когда я говорю! И вопросы задавать лишь с моего разрешения! Это — первое условие! Второе — абсолютная точность перевода! За умышленное искажение — расстрел! Работать с семи утра до шести вечера. Сопровождать меня в поездках по району. Все! Будете честны, ваш муж снова станет агрономом. А ваши дети будут сыты и одеты. Вермахт гарантирует безопасность тем, кто ему помогает. А после войны вы получите во владение десять гектаров земли. Вы меня поняли? У вас будет своя земля!

Прокричав все это, как с трибуны, комендант закончил:

— Все! Завтра к семи быть на месте! Скопилось много бумаг и циркуляров для письменного перевода. Чем быстрее вы его сделаете, тем скорее я вас отпущу в Кременчуг.

— Но...

— Все! — Уже с угрозой перебил комендант.— Или вы приходите сами, или вас поведут под винтовкой!

— У меня тоже нет выбора...— проговорила она и вдруг чуть не кинулась за комендантом: — Под винтовкой! Лучше пусть ведут под винтовкой!..

Комендант остановился, взглянул на нее исподлобья:

— Боятесь жителей? Или своих учеников? Ладно, вас поведут под винтовкой!

Бугая он назначил конвоиром. Полицай шагал за ее спиной и бубнил, что только ему она обязана этим счастьем, а потому пусть поможет поступить ему, Бугаю, в полицейскую школу, открытую в Киеве. А Наталья Александровна шла, склонив к плечу седеющую голову, шла, устремив в пространство напряженный взгляд.

Накануне она только вошла с крылечка в дом после ухода коменданта, как на шею ей бросилась сестра:

— Ну, Наталка! Ты герой! Как хватило у тебя сил спокойно перед этим фашистом выстоять?! А у меня даже пистолет в руках плясал от желания прошить ему пузо. Я все время на мушке его держала.

— Томка! Как в дом попала?

— Мальчишка соседский примчался, сказал, что тебя забирают. Я увидела у ворот машину, а тебя на крыльце, огородом пробралась к дому, а потом — в окно. Ребятышки открыли.

— А где ж они?

— Я их в погреб отправила. Все ж могло быть...

— Томка! Сумасшедшая!

От всего пережитого Наталья Александровна не могла удержать слез. А из другой комнатки, передвигая впереди себя кресло, медленно вышла старая Симура. На сиденьи кресла стоял перевязанный крестнакрест ленточкой ее плетеный ларец. Она встревоженно сказала:

— Девоньки! Я прошу вас эти бумаги надежно спрятать. Мне недолго жить. И с вами теперь что угодно может стрястись. Тут собрано все, что я свято берегла...

В тот вечер Наталья Александровна положила в ларец и весь свой архив, начиная с писем жениху Владимиру Латвиненко до последней от него открытки и письмо сына. Так и соединилось все под крышкой ларца — от бумаг обнищавшего дворянина Александра Сколковского до фотокарточки военного с ромбом в петлице — комиссара Ласкавого, того самого Нёмки,

который на обороте своего портрета написал Виктору и Алику: «На память о долгих беседах про величие нашей эпохи, с искренним и исключительным желанием, чтобы племяши выросли активными членами коммунистического общества...»

Когда они закопали на дне глубокого погребка лапшу и дорогие им пластинки с советскими песнями, Тамара Александровна сказала сестре:

— Мы как-то с тобой о самом главном поговорить не успели... Если в восемнадцатом — я сама это пережила! — так много людей поднялось за Советскую власть, то сейчас, увидишь, поднимется весь народ! Ко мне в больницу уже ходят те, кто собирает оружие. К ним мы своих солдат добавим, когда поставим наших раненых на ноги. А сколько в лесах прячется окруженцев?! Этот фашистский боров скоро отучится спать спокойно. Я не отсиживаться сюда пришла. И ты не на службу к гитлеровцам пойдешь, Наталка, а на борьбу с ними. Тебе верят люди, никто не швырнет в тебя камнем. Иди! Ты сумеешь справиться с собой и ты обязана удержаться в комендатуре подольше!

Они заснули всего на час. Но поднялась Наталья Александровна собранной, перешагнувшей, кажется, через самое трудное.

Всем в Бобровице уже было известно, куда ведут учительницу. И люди сочувственно кивали ей из окон. Две женщины вышли к дороге:

— Наталья Александровна! Уж лучше вы при них, чем кто-то другой. Не страдайте...

Возле комендатуры учительницу подстерегла кухарка коменданта, разбитная Олишева. Она всплеснула полными, оголенными до плеч руками:

— Вы-то меня, наверно, не знаете? А я Олишева, мои дети у вас учились. Я сама говорила о вас с комендантом. С ним можно поладить. Только не строптивьтесь. У вас семья — бабушка неходячая, двое детей, сестра больная... А если стыдитесь у них работать, то зря. Посудачат, как обо мне, — небось, слышали? — и перестанут. Сила-то солону ломит.

Наталья Александровна прошла мимо Олишевой молча, даже не взглянув на нее, прошла под надежной охраной. И речь тут не о полицае Семпкрыле. Ее охраняло все то хорошее, доброе, что повидала она и

сама сделала на земле, чему ничто и никто не заставит ее изменить. Ее охранял и тот человек, который ей недавно так тепло, так дружески улыбался.

Сначала она с трудом узнала учителя Алексея Нелина. В порыжелом пиджачишке, похудевший, небритый, Нелин стоял у дороги, ссутулясь, и почему-то опирался на палку. Казалось, вот-вот протянет руку за милостыней.



...Лет десять назад, на одном из учительских семинаров, Нелин предстал перед ней совсем молодым парнем с густой шевелюрой и синими-пресиними глазами.

— Заслушался вас,— сказал он тогда, светясь как бы полудетской своей улыбкой.— Вы от рождения педагог...

Она от его слов даже смутилась:

— Как вам сказать...

— Правда! — Он отмеривал слова не спеша, по одному.— Мне рассказали... У вас и отец ведь был учителем? Так? В Щастновке — в сельскохозяйственной школе?

— Да... И мать, и дед.

— Вот. А мои родители читать не умели, а сам я до пятнадцати лет пас коров и гусей: был у батьки пятым. Кочегарил, плотничал, глину месил на кирпичном заводе. Рыбачил. Жил не тужил, девчатам нравился. Меня же вдруг учиться послали — в педтехникум. И вот — уже сам учу... А вас послушал и думаю: не лучше ли мне глину снова месить?.. Далеко мне до вашего уровня... И вообще, может ли из меня путный учитель выйти?

Разговор у них был тогда долгим. На прощание Нелин, поблагодарив ее, сказал:

— Меня в педтехникум друг старшего брата моего Григория определил. Они вместе в гражданскую воевали. А Григорий вроде бы завет через друга оставил, чтобы я учителем стал. Отступать мне, выходит, некуда: брат мой беляками в девятнадцатом расстрелян под Нежиным...

Через год она узнала, что Нелин поступил в Нежинский пединститут. Потом надолго потеряла его из

виду и очень обрадовалась, встретив снова на районном учительском совещании.

— Колхоз создавали,— объяснил Нелин.— В Мрыне — на моей родине. Даже и председателем малость побыл. А теперь — снова за книги и в школу. В Кобыжчу направлен — историком. Не опозориться бы!

Не опозорился Нелин. За год до войны его перевели в Бобровицу. Он вел историю у выпускников, был их классным руководителем. Сын Виктор уже после нескольких уроков Нелина сказал Наталье Александровне:

— Новый историк — что надо! Другие просто излагают факты. Он не говорит, а будто думает вслух. Поневоле и сам мозгами зашевелишь.

Но теперь у придорожного осокоря к ней вышел какой-то замухрышистый мужичишка. Бугай, не знавший учителя, выставил перед ним винтовку:

— А ну, не лезь!

— Отойдите в сторонку, Семпокрьл! Иначе я пожалуюсь на вас коменданту.

— Виноват... Извиняюсь...

Полицай попятился от учительницы. Нелин тихо посоветовал:

— Зря не дразните этих...— Он кивнул в сторону комендатуры, над которой болталась тряпка со свастикой.— Пусть вам поверят. Так будет лучше. Лучше для нас. Для всех — вы понимаете? Я буду вас где-нибудь по дороге домой иногда встречать. Все там у них запоминайте. А в случае чего... Я теперь у Горайнов, в бывшем поповском доме квартирую... Болел я сильно, Наталья Александровна. Еще в себя не пришел. А встал только из-за вас. Чтобы сказать... Мы вам верим — понимаете?

НА ДРЕВНЕМ ХОЛМЕ

В Бобровице перед центральной площадью вздымается холм, созданный самой природой. Он довольно высок, но кажется ныне лишь постаментом вознесенного к небу гранитного обелиска. Обожженная войной земля будто для того и вздыбилась тут, чтобы поднять этот памятник над россыпью белостенных хат, над медлительной речкой в камышовых берегах, очевидно в шутку прозванной Быстрицей. На холме — плиты с именами погибших, цветы. И — тишина. Вниз, на площадь, сбегает гранитная лестница, и люди не просто поднимаются на холм, а как бы восходят к гордой славе солдат, к их немеркнувшей доблести.

У этого холма своя история. Когда-то тут размещались почти все районные учреждения, Дом культуры, почта, сберкасса и первая в округе средняя школа со спортплощадкой и интернатом.

На холме, над крутым склоном, обращенным не к площади, а к садам и огородам, стоял тогда и небольшой дом из двух отдельных квартир. В од-



ной жил школьный сторож с дочкой, а в другой за год до войны поселился новый учитель — Алексей Никитич Нелин. На его глазах в сентябре сорок первого центр Бобровицы в короткое время опустел: с передовой линии в райком прискакал на взмыленном коне капитан и объявил:

— Уходите немедленно! Если сутки продержимся — хорошо!

Продержались наши бойцы еще двое суток. И двое суток Нелин оставался на опустевшем холме один. Он помогал исполкомовцам грузить ящики с документами, но уехать не смог: в полуторке на всех не хватило места.

Проводив машину, Нелин бродил по опустевшим зданиям, подбирал раскиданные бумаги и бросал их в огонь. Уснуть, как ни пытался, не мог. Все ходил по холму со старой винтовкой за плечами и прислушивался к затихшему селу.

Обойдя все здания, заглянул в школу, а там и в свой десятый класс. Ему показалось, что снова разом хлопнули крышки парт и дежурный отчеканил: «На уроке истории в десятом классе присутствуют...»

Это мог быть голос Виктора Литвиненко. Или Пинчук оказался дежурным, если не Моисеев, — во всяком случае, все они, его недавние ученики, вдруг припомнились Нелину сидевшими на своих местах. Его «три танкиста». И «три умницы» — так называл про себя он Улю Матвиенко, Галю Вакуленко и Нину Фуртак — круглых отличниц, но не соперниц, как зачастую бывает, а неразлучных подруг. В пустом классе, с уже разбитыми окнами, учитель, уронив на руки голову, опустился за чью-то парту и долго сидел в тоске.

На вторую ночь, после того как он остался на холме один, вдали полыхнуло пламя, наши взорвали мост через Быстрицу. А на рассвете у речки показались фашисты. Из-за старой липы Нелин выстрелил в них несколько раз, спрятал в кустах винтовку и сбежал с холма в тихую, утонувшую в зелени улицу.

— Оля, это я. К вам на квартиру. По уговору с мамой. Враги уже тут...

— Проходите!..

Неделю он пролежал больной в доме, который по

старинке звали поповским, хотя священник Гурий Горайн давно уже в нем не жил.

Сказались нервное перенапряжение и радикулит — наследство пастушечьих лет, когда и засыпал Нелин на холодной земле, и часами мок под дождем.

После войны Нелина спросят:

— Почему не служил в армии?

Он ответит:

— Задержали по брони.

Так оно и случилось.

Учителя в первые дни войны пригласили в райисполком и сказали:

— Вам в школе доверяли десятиклассников, значит, с молодежью обращаться умеете. Создавайте из школьников противохимический отряд — с военкоматом договорились. Дело важное. Фашисты на все могут пойти...

Станцию Бобровицы бомбили уже на третий день войны. Бросали крупные фугаски. Но где гарантия, что гитлеровцы не пустят в ход и газы? Нелин быстро сколотил отряд, раздал противогазы и винтовки. Учил ребят и сам учился защищать население от газовых атак. Когда бомбили, спешил в опасную зону проверить, нет ли газового облака, гасил со старшеклассниками пожары. А кроме того, отряд Нелина входил в истребительный батальон: патрулировал по селу, охранял склады и государственные учреждения, следил за светомаскировкой, окапывал и камуфлировал нефтебазу. Чем больше редел истребительный отряд — ребят одного за другим призывали в армию, тем большая нагрузка падала на оставшихся. Нелину передали в конце концов и бойцов истребительного отряда. Так он и нес свою службу.

Хозяев дома, Горайнов, Нелин знал через одного учителя, снимавшего у них комнату. И потому соседство мало знакомых ему людей — Варвары Ивановны, бывшей супруги священника, и ее дочери Оли — только подчеркивало тяжкое его одиночество.

Но главное, из-за чего терзала Нелина душевная боль, за что учитель казнил себя,— это за то, что он выпал из привычного строя жизни, потерял свое место в ней. Ему чудились глаза его десятиклассников, молчаливо вопрошавшие издалека, с той стороны фрон-

та: «Как же так вышло, учитель, что вы не впереди и даже не с нами?!»

Нелин и подумать не мог, что поддержит его в самые трудные дни малознакомый дом Гораинов.

— Скажите, вы поселились у нас, чтобы быть вне подозрений? — сразу же спросила учителя Ольга — русокосяя девушка с ясным и открытым взглядом.

— Подозрений? Почему?

Он вначале не понял смысла ее слов и не сразу сообразил, что дом этот — поповский. А Оля вдруг раскрыла перед ним семейный альбом:

— Мои родители... Посмотрите!

Нелин увидел на старой фотографии отнюдь не иконные лица, как ожидал, а похожую на Ольгу юную девушку в белой блузке и стройного, в полотняной косоворотке, парня, узколицего, с живым и веселым взглядом. А когда Нелин услышал, что девушка с фотографии — Варечка Головкова — была не просто учительницей, а и дочерью учителей, по сорок лет отдавших сельской школе, заинтересовался и сам стал Олю расспрашивать. И узнал, что оба они — отец и мать Оли — учительствовали до тех пор, пока не вызвал Гораина к себе его больной и престарелый отец — священник. А рядом с отцом выстроились мал мала меньше шесть его дочерей и два сына.

— Ты, Гурий, выучился, окончил семинарию, — сказал тогда отец старшему сыну. — А теперь помоги встать на ноги им. Прими мой приход и будь им опорой...

Не смог Гурий отцу отказать. А Варя, как ни чуралась церковного сословия, не могла представить жизни без Гурия. Так стала она женой священника. До революции тусклую свою долю скрашивала тем, что играла в любительских спектаклях, создавала народные хоры. А потом потребовала от мужа:

— Не ходи больше в церковь! Будем учительствовать! Начинается новая жизнь.

— Понимаю. Но не могу. Что мне людям сказать? Что долгие годы обманывал их? Нет!

— Тогда мы расстанемся, Гурий. Ради детей. Я хочу, чтобы они жили по-новому.

Они развелись. Варвара Ивановна учительствовать после долгого перерыва не решилась, стала счетово-

дом. В дом пускала квартирантов — старшекласников из окрестных сел и учителей.

Сын ее перед войной окончил в Краматорске профтехшколу. Обе дочери — десятилетку, успев сделать первые шаги и по институтским лестницам. Старшая — в Нежинском пединституте, а Ольга — в Ленинградской лесотехнической академии. Не война — училась бы на третьем курсе. Думала только на каникулах в Бобровице побыть. А теперь...

С отцовским узким овалом лица, вылитая мать — стройностью, а особенно манерой до побеления стискивать тонкие пальцы, Ольга, казалось, вот-вот разрыдается со всей безудержностью своих двадцати лет. Но о чем? Нелину показалось, что о горькой судьбине родителей. Они, и оставаясь поврозь, выбрав такие непохожие, даже несовместимые жизни, и в разлуке были друг другу верны.

Но Оля внезапно так повернула разговор, что защипало глаза у самого Нелина.

— Скажите, Алексей Никитич, скажите! Неужто может возвратиться старое, заменить все прекрасное, чем мы жили перед войной?! Ведь я жила в Ленинграде, училась. Вы, может, не знаете, но я — комсомолка! Вы говорите мне, что надо сейчас сделать: я не боюсь! Зря спрашивать вас больше ни о чем не стану. Я ведь догадываюсь, вы неспроста у нас поселились.

— Спасибо, Оля! — только и смог ответить ей Нелин. — Я тебе тоже верю!

...Нелин, пока не поднялся на ноги, все новости узнавал от Ольги. Уже на второй день прибежала она домой, рыдая: немцы на берегу реки расстреляли портного, еврея Хайтовича. Все ждали поголовной облавы. Аптекарьша Александра Филипповна Вакуленко призналась Ольге, что прячет у себя дома еврейку из Кобыжчи и очень боится обыска.

Потом войсковые части покинули село, а на холме, в райисполкоме, разместились со своей комендатурой толстый офицер и несколько мотоциклистов. Райисполком был занят под комендатуру, школа — под полицию. Откуда-то прибыл в Бобровицу ранее высланный из села кулак Степан Зазимко, он стал районным старостой, а бывший до революции приставом Мака-

ренко — начальником полиции. Только на таких выродков и могли опираться оккупанты.

А когда Нелин услышал от Ольги, что утром Бугай поведет в комендатуру учительницу Литвиненко, он вышел к дороге встретить Наталью Александровну. Поняв, что она, как и Ольга, ищет поддержки, не мог не произнести: «Мы...»

С этого дня Нелин начал искать товарищей по борьбе. У заведующей аптеки Александры Филипповны Вакуленко учитель узнал, что ее дочь Галя, уехав сдавать экзамены в Харьковский мединститут, будто в воду канула, но ее подружки Нина Фуртак и Ульяна Матвиенко, тоже поступавшие в вузы, успели возвратиться домой.

Ульяну и Нину, своих учениц, Нелин без колебаний поставил на боевой учет. Учитель пробрался в Кобыжчу, где жил старый коммунист, партизан гражданской войны Порфирий Кихтенко. Правда, самого Порфирия в Кобыжче не оказалось, но его близкие не скрыли от учителя, что Кихтенко уже в лесу, и проводили к нему в урочище, где старый партизан с пятью помощниками копал землянку. Кряжистый и еще очень крепкий, Порфирий обнял учителя:

— Остался? Ну и хорошо!

— Чего же хорошего? — изумился Нелин. — Если только в отряд свой возьмете...

— Возьмем! Когда обживемся. Пока готовимся к зиме и ищем оружие. Наши хотели склад оставить в лесу. Да не успели, наверно. А в Бобровице как?

Нелин рассказал все, что знал. Кихтенко покачал головой:

— Сволочи! Видать, надолго окапываются! Что же — и нам нельзя дремать! Я тебя, Нелин, к нам беру, но останешься ты, сколько можешь, в Бобровице. Обеспечишь нам постоянную разведку. Сюда зря не ходи. Мы будем к тебе посылать. А может, лучше в другом селе назначить явку? Нет никого на примете?

— Есть! — уверенно ответил Нелин. — В Макаровке. Ульяна Матвиенко, моя бывшая ученица. И дом у них ближний к лесу — удобно!

Нелин благополучно возвратился в Бобровицу и стал завсегдаем на холме — в самом фашистском

«собачнике». На дороге, проходящей через холм, были выставлены полицейские посты, но днем они пропускали всех. А на Нелина и вовсе не обращали внимания. Он удачно принял обличье больного и абсолютно ко всему равнодушного человека.

— Кто это каждый день под окнами шляется? — как-то спросил у Натальи Александровны Бибрах, взглянув на медленно бредущего Нелина.

— Так...— Литвиненко махнула рукой.— Учителем был. Больной человек. Его даже и жена бросила...

— Хороши же у большевиков учителя! — фыркнул Бибрах.

Никто не помешал Нелину вернуться вновь на жительство в дом, откуда просматривался весь «собачник»: Нелин вещи из своей комнаты не убирал, только самые ценные книги перенес к Гораинам. А из сторожки всегда можно было скрытно уйти.

С Натальей Александровной Нелин встречался почти каждый день. И в «собачнике», и где-нибудь на пути к ее дому. По его совету она отказалась от конвоя и внешне стала обходительнее с «хозяевами». Тем более, что и повод для этого был. Бибрах сдержал слово, отпустил Наталью Александровну в Кременчуг за мужем. Она нашла и лагерь, где, по рассказам, находился агроном, и даже людей, его встречавших. Но мужа, как ни искала, не увидела. Она вернулась домой, но не одна: увела из лагеря двух советских военнопленных — земляков из Черниговской области. С месяц, пока не окрепли, не обзавелись с помощью Литвиненко нужными документами, они жили в ее доме, а потом благополучно возвратились в родные места: фельдшер Бобенко Алексей Максимович — в Добрянку, что возле станции Горностаевка; врач Серeda Андрей Филиппович — на станцию Мена.

Осенним вечером, вскоре после возвращения Натальи Александровны из Кременчуга, Нелин перехватил ее на полдороге к дому.

— Что у вас за сцены с переодеванием, не скажете? На днях видел, как в комендатуру вошел какой-то оборванный парень, а ныне гляжу, он же, только в советской новехонькой форме, вместе с Бибрахом после обеда чуть ли не в обнимку выходит. Зачем такой маскарад?

— Ох, Алексей Никитич! — Наталья Александровна положила руку на сердце. — Это какая-то мистика! Парень сказал мне, что пришел из Щастновки, а вы знаете, что с этим селом моя юность связана. Но что еще удивительнее — он был пленным в том же лагере, куда я ходила за Володей!

— А зачем он тут?

— Он — наш новый переводчик. Думаю, вместо меня. Я не могу там больше быть, Алексей Никитич, сил моих нет. И я уже заявила об этом Бибраxu.

— А как фамилия этого переводчика? Кто он?

— Ремов Николай Васильевич. Говорит, поповский сын.

— Час от часу не легче, — вздохнул Нелин.

РОЖДЕНИЕ РЕМОВА

Николай Печенкин долго прятал от дочери папку с бумагами о своей военной судьбе. Танкист Литвиненко вплоть до раннего инфаркта таил от подраставшей Наташи свое неизбыточное горе — гибель матери и тети в фашистских застенках.

Но пришел час, когда Печенкин и Литвиненко рассказали детям обо всем. Потому что нельзя воспитать в человеке Человека, если он не будет знать всей правды о жизни своих отцов. Если он не будет знать всей меры мужества, всей горечи потерь, которыми оплачена Победа и сегодняшняя радость сегодняшних двадцатилетних.

А победа была делом не одних солдат-фронтовиков. Не зря пелось: «Идет война народная, священная война!..» Она велась не только воинами на передовой и партизанами в фашистских тылах. Еще был и трудовой фронт — на заводах и в селах.

И был еще один фронт, для каждого свой, особый, открывшийся перед теми советскими лю-



дями, которые, как Печенкин, Соколова, Нелин, сестры Наталья Литвиненко и Тамара Сколковская, оказались в оккупации. Людям, попавшим в такую беду, лишенным всех человеческих и гражданских прав, было особенно трудно.

Судьба отняла у них, казалось бы, даже и самую возможность сопротивляться врагу.

Мы знаем, что многое было сделано и для тех людей, кому выпала судьба сражаться с врагом в тылу. В подполье оставались надежные коммунисты-организаторы, заранее создавались склады оружия и боеприпасов. Не на голом месте возникли прославленные партизанские соединения. И бобровицкое подполье смогло много сделать и действовать почти два года потому, что им руководили опытные коммунисты — и из партизанских отрядов, и остававшиеся на местах. Но многим из тех, кто попал в оккупацию, пришлось искать путей к борьбе с врагом сначала и в одиночку, проходить через тяжкие испытания, прежде чем удавалось обрести союзников и оружие. Это тоже был фронт, для каждого особый, в силу личных свойств и обстоятельств.

Печенкин стал Ремовым не только потому, что, когда готовил себя к работе в тылу, тщательно продумал «легенду». Попав в плен, Николай «легенду» долго не вспоминал вообще. Фашисты не нуждались в биографиях пленных, заранее обреченных на смерть, в лагере они их только ежедневно считали, перемещая из одной клетки в другую. Николай думал лишь о том, как вырваться из фашистских лап.

Всегда общительный, искавший человеческой дружбы, он, после того как предали политрука и Штейнгардта, как погибли в плену или отбились друг от друга и остальные товарищи его по курсам, стал относиться ко всем настороженно. Дольше всех продержался рядом с Николаем лейтенант Калошин. Но и его увели на какие-то работы, и он не возвратился. Так что Печенкин, никому не известный среди тысяч людей, одетый в рваный тулуп и опорки на босу ногу, мог назваться кем угодно.

Но все-таки кем стать, подсказали события. И конечно, люди. Больше других помог в этом Усач, пожилой шахтер, с седыми уже усами и бородой. Николай

знал его имя, но теперь, спустя десятилетия, вспомнить не может. Однако отлично помнит, что именно Усач, подсев однажды к Николаю на истертую в труху солому, ошарашил его совершенно неожиданным вопросом:

— Школьник?

— Я-то? — Николай на всякий случай от ответа уклонился:

— Почему решили?

— Ведь не брился еще?

— Пока нет.

— Оно и видать. Остальные-то вон как заросли. На окопных работах схватили?

— Меня-то?.. — Николай все еще осторожничал. — Откуда взяли?

— Встречал похожего. После десятилетки послали его на окопные работы, а фрицы уже тут как тут... За шкуру — и в лагерь, заодно с солдатами.

Николай так и не понял, на самом ли деле Усач принял его за школьника или подавал добрый совет, но тут же решил про себя воспользоваться им. Усач с горечью продолжал:

— Только они и школьников не щадят. А я к тебе давно приглядываюсь. Чувствую, парень ты шустрый и смекалистый. Бежим со мной?! Не сейчас — когда перегонят в наружную клетку...

— Бежим! Конечно, бежим!

Николай знал, что гестаповцы в помощь часовым установили прожектор с блуждающим лучом, а вокруг лагеря, как охотников вокруг загона, рассредоточивали на ночь снайперов. Их выстрелы гремели со всех сторон. Но пленные, несмотря ни на что, рвались за проволоку, хотя чаще всего оставались на ней убитыми.

Но если и был шанс убежать, то только с таким основательным человеком, как Усач. Он и группу подобрал для побега надежную. Решили дожидаться дождливой ночи: фашисты могут и не выставить снайперов, а если и выставят, то бежать в момент, когда стрельба поднимется в противоположной стороне.

Все рассчитал Усач. И о каждом беглеце, как мог, позаботился. Николаю даже теплые портянки сумел достать. Но бежать с ним Печенкину не довелось.

В один из дней над лагерем через жестяные рупоры разнеслось:

— Всем, кому нет восемнадцати, кто не воевал,— к воротам!

Николай оставил эти слова без внимания, но Усач сразу спросил:

— Пойдешь?

— Но...

— Неизвестно, зачем вызывают? От них, конечно, всего можно ждать. Но ты, видно сразу, малолеток,— иди!

Так сделал Печенкин первый шаг за проволоку — в битком набитый подростками барак. Немцы долго не показывались. Николая, как самого щупленького, пленные на плечах поднимали к оконцу под крышей — для разведки.

Но кроме все тех же клеток из колючей проволоки и врытых в землю деревянных бочек, из которых пленных «кормили», ничего другого из окошка Печенкину не было видно.

А потом, как всегда, конвоиры растянулись цепочкой между бочками и клетками, чтобы пропускать пленных за лагерной баландой. И вот тут кто-то властно скомандовал по-немецки:

— Нет! Сначала кормить тех, кто в бараке, кого отправляем в Германию!

Тут же дверь барака распахнулась и раздалась команда:

— По одному, за пищей — выходи!

Уже с неделю ухитрялся Печенкин получать по две порции «супа». Одну — в парусиновую рукавицу, которую тут же припрятывал под тулуп, другую — в фуражку. А тут, ошарашенный услышанной новостью, подставил под черпак разливальщика сразу обе «посудины».

Сильный удар палкой по голове опрокинул Николая навзничь. Суп из фуражки брызнул в лицо.

— Ферфлюхтес швейн! Надо быть честным! — кричал раздатчик.

— Это ты — ферфлюхтес швейн! Тебе надо быть честным! Жирная морда! Дождешься и ты своего!

Николай считал, что он все это только подумал, а не сказал. Немцы, услышав свой язык, насторожи-

лись. Раздатчик, правда, успел еще пнуть Николая, но подоспевший фельдфебель прекратил расправу.

— Хальт! — нагнулся над Николаем. — Шпрехен зи дойтч? Вэр бист ду?

Плен так обострил внимание к языку врага, что Николай не только напряженно вслушивался в разговоры конвоиров, но частенько уже и думал на немецком.

Он приготовился к смерти, когда кто-то рывком поднял его с земли, а фельдфебель потряс за плечо, повторив:

— Ты говоришь по-немецки? — Он протянул Николаю его фуражку. — Я не сделаю тебе плохого. Мне нужен переводчик — ехать в Бердичев. Понимаешь?

— Да!

— Можешь читать и писать?..

— Да!

— Следуй за мной!..

Фельдфебель привел Николая на кухню, поставил перед ним железную консервную банку, наполовину заполненную горячим горохом.

— Ешь! Пока немного. А то умрешь...

Он дал Николаю поесть, а потом допросил:

— Кто ты?

— Школьник...

— Как попал в лагерь?

— Был на окопных работах.

— Комсомолец?

— Нет...

— Почему?..

— Меня не приняли. Отец был священником.

Николай отвечал быстро, почти не задумываясь, по подсказке Усача и по своей легенде.

— Фамилия?..

— Баянов... — Николай даже изобразил руками, как растягивает меха и перебирает лады. — Это потому, что у нас в семье всегда кто-нибудь играл.

— Так? — Немец достал губную гармошку и издал короткую руладу. — И ты умеешь играть?

— Яволь!

— Иди за мной!

Николай еще не назвал себя Ремовым, сыном попа, который когда-то действительно служил в Лысцев-

ской церкви, жил у Печенкиных на квартире и на их глазах был арестован за какие-то темные дела. Легенда требовала от Николая вполне определенного поведения, к чему он внутренне еще не был готов. А неизвестный Баянов мог быть каким угодно. Да и слишком мелкой сошкой был Николай для фельдфебеля, чтобы тот стал тщательно обо всем допытываться.

Фриц повел пленника в похожий на склад барак — в общежитие фольксдойче.

— Переночуешь здесь! — Фельдфебель указал на незастланный топчан, потом принес Николаю баян: — Играй!

В барак, раздав обед, ввалилось несколько фольксдойче. Кто-то из них разорвался:

— Свиньи! Их вообще кормить незачем! Долго будем с ними возиться?

— Скоро наши Москву возьмут, тогда и конец!..

«Ага! Не взяли-таки!» — отметил Николай, и без того не веривший распространяемым немцами по лагерю слухам о том, что Москва уже пала. «И не возьмете!» Он заиграл вальс «По волнам», который любил наигрывать в Лысцеве, сидя на завалинке дома.

— Гут! — Фельдфебель вскоре унес баян. Но мелодию вальса схватил. На губной гармошке он сыграл начало вальса даже на другой день, когда Николай шагал рядом с ним через весь Кременчуг, сопровождая на вокзал колонну пленных, отобранных для отправки в Бердичев. Фашист даже протянул свою гармошку Николаю:

— Вайтер!

— Дальше? На этой гармошке не умею. Хотите, посвишу?..

Уже в тот день Николай мог сбежать от фельдфебеля, вернее, попытаться. Случай представился редкостный. Длинный фельдфебель или наигрывал на гармошке, или болтал с подходившими к нему приятелями, а на маленького переводчика никакого внимания, кажется, не обращал. Когда из-за палисадника одного дома женщина протянула Николаю миску с горячим картофелем, Печенкин сам не заметил, как потянулся к миске и... остался у загородки один, без фельдфебеля, рядом с пожилой, приветливой украинкой.

Правда, за его спиной проходила колонна и рядом с ней автоматчики — Николай был у всех на виду. Но от прыжка через изгородь его остановило другое. В лагере, как и Усач, он был одержим одной мыслью — бежать. И не задумывался — куда: куда глаза глядят! Но чуть ослабла угроза смерти, чуть только он почувствовал человечески выспался и поел, как увидел свое положение с другой стороны.

Николай оставался в плену, только шагал не в общей колонне, а рядом с ней. Но он впервые почувствовал себя человеком, которого специально готовили для борьбы за линией фронта.

На занятиях недаром предусматривали и случай, когда действовать придется только на свой риск и страх. Рекомендовалось начать с того, чтобы, используя знание языка, раздобыть себе надежные немецкие документы. Подумав обо всем этом, Николай решил, что «музыкальный» фельдфебель ему еще пригодится. Фашист дал Николаю длинную, до пят, шинель и обещал позаботиться о Николае в Бердичеве:

— Переводчиков нам не хватает...

Это сулило возможность добыть для себя хотя бы какой-нибудь немецкий документ. Николай отважился на риск.

Когда он и в Бердичеве увидел те же клетки с пленными под открытым небом, подумал, что совершил роковую ошибку. Но фельдфебель его не обманул: не зря Николай всю дорогу обучал его русским вальсам. Фельдфебель сдал Николая не в общую клетку, а с рук на руки другому фельдфебелю — рыжеусому толстяку. А тот только и справился у Николая:

— Ты умеешь и писать по-немецки? Тогда для тебя есть хорошая работа. Бери стол и неси за мной. Герр комендант будет говорить на улице, его весь лагерь будет слушать...

Перед столом, поставленным Николаем на травянистом пригорке, выстроили около пятисот пленных, а позади, за их спинами, в клетках, томились тысячи. Николая и еще пятерых переводчиков, тоже из пленных, фельдфебель поставил шагах в десяти от стола и позвал коменданта.

У невысокого гауптмана оказался визгливый голос.

— Крисгефангенен! — начал гауптман, подойдя к столу.

— Военнопленные! — выкрикнул, встав рядом с ним, переводчик.

— Сегодня,— продолжал гауптман,— мы отпускаем по домам еще одну партию украинцев. Наш фюрер прощает вас, хотя вы и подняли оружие на его солдат. И вы, возвратясь в родные места, должны своим трудом и полным повиновением доказать свою благодарность фюреру.

— Все равно за все освободителей не отблагодарить,— тихо-тихо сказал над ухом Николая высокий и худой, кожа да кости, парень. И вдруг спросил: — Ты когда будешь кланяться им за вспухший живот, за чирьи на шее, за вшей?..

Николай из осторожности хотел промолчать, но не выдержал:

— А ты?..

— О! Мне их век не отблагодарить! Я был в лагере под Ново-Украинкой. Насмотрелся...

Они подружились с первого разговора. В бараке, где поселили переводчиков, парни устроились рядышком на нарах. А наутро сели рядом в комнате с пятью столами, за которыми размещались и другие писари-переводчики. Обязанности растолковал Николаю фельдфебель, а еще понятнее — новый знакомый.

Гитлеровцы не хотели держать зимой так много пленных. Их пусть и бурдой, но кормить было надо. К тому же на оккупированной территории почти не осталось мужчин, рабочей силы, а значит, трудно было выжать из Украины все, на что рассчитывал вермахт. Вот и решили распустить по домам часть местных жителей. Сначала тех, за кем приходили жены или родственники с ходатайством немецких властей. Каким-то немислимым способом, из уст в уста, вести о пленных долетали до самых отдаленных сел. И родные шли на розыски, порой за сотни верст. Из бердичевского лагеря пленных украинцев отпускали и без ходатайств. Кроме всего, тут у гитлеровцев был расчет — озлобить пленных других национальностей. Но он явно проваливался.

Николай убедился в этом с первого дня. Ведь его посадили не только выписывать отпускные свидетель-

ства — аусвайсы — военнопленным, но и проверять их национальность.

День для Николая начался с того, что первый, кто подошел к нему за свидетельством, — рослый пленный с Харьковщины, — прежде всего предупредил его вполголоса:

— Зараз ще двое з нашего села будуть: вони не говорять по-українськи. Але вони наши — зрозумел?

А потом Николай растерялся. К его столу подошел мрачный грузин и, глядя прямо в глаза, тихо сказал:

— Слушай, кацо, я — українець. Тебе ясно?

И хотя бы назвал местечко на Украине, куда мечтает он «возвратиться». Нет же! Только добавил:

— Ты бери, кацо, бери бумажку. Пиши!

Николай растерянно посмотрел на приятеля, и тот сразу поднялся на выручку:

— Поливода? — спросил он нарочито громко. — Да, таких фамилий на Полтавщине много. И район такой действительно есть: Згуровский. Вот он. — Приятель ткнул пальцем в висевшую на стене карту Украины. — Вот оно твое село Згуровка. — И повернулся к грузину: — Так, Григорий Поливода?

— Так! — радостно подтвердил грузин.

Николай выписал Поливоде аусвайс, а приятель, уловив момент, ободрил новичка:

— Ты не бойся! Немцы не проверяют. Да и как им без нас понять, кто українець, а кто русский?

За день, как и было предписано, Николай оформил ровно сто пятьдесят аусвайсов — всем, кто к нему попал.

Зарегистрировав пропуска в специальной книге, понес их к коменданту на подпись. Приготовился к самому худшему, положив бумаги перед гауптманом. Но тот спросил, даже не подняв головы:

— Сто пятьдесят?

— Сто пятьдесят.

Назавтра, когда отбывающих из лагеря построили, чтобы они выслушали ту же крикливую речь коменданта, Николай роздал пропуска своим «українцям», и они покинули лагерь.

И еще три дня прошли благополучно. А на четвертый приятель забеспокоился:

— Или среди переводчиков нашелся предатель,

или пленные проболтались, но фельдфебель намекнул, что нас с тобой подозревают в неправильной выписке аусвайсов. Надо бежать!

В тот же день друзья оформили по лишнему отпуску свидетельству — Николай для приятеля, а тот для него, но в книге их не провели в надежде, что комендант, как всегда, пересчитывать бланки не станет. Наутро Николай с толпою отпущенных пленных благополучно покинул лагерь.

Но перед тем у него была бессонная ночь.

Николай попросил приятеля выписать ему аусвайс на Черниговщину в село, привлекавшее даже названием, — в Щастновку. Но дело, разумеется, не в названии. Просто не было на всей Украине другого места, где бы знали Николая и могли приютить. Под Щастновкой, на хуторе Майновка, в бывшем сельскохозяйственном техникуме, он пробыл целую неделю, когда, покинув Бровары, кочевал из села в село со своими курсами. И там, в Щастновке, как-то под вечер он был остановлен у колодца удивленным возгласом какой-то дивчины:

— Побачьте, який малый офицер!..

Он подошел, разговорился, а шестнадцатилетняя Надя Будник, узнав, что Николай играет на баяне, пригласила его в дом своей тети. И что там было, в гостях у Евгении Сергеевны Потапенко, чтобы запомнить и дом ее, и тот добрый вечер? Кажется, ничего особенного. Посидели, поговорили, попели и распрощались. Запомнилась только красота хозяйки: с нее когда-то писали портреты киевские художники, и один из них подарил на память.

В этом доме Печенкин не сомневался. Но как уйти из лагеря, чтобы оторваться от возможной погони? Уже через час, с началом работы, фашисты узнают о побегах двух переводчиков. У друга был свой план, он рассчитывал переждать опасность в Бердичеве. Николай настроился на Щастновку. Но далеко ли уйдешь за час? Была у него только одна надежда — выйти к большаку и попытаться остановить первую попутную машину. Теперь он может предъявить немецкий документ о том, что следует домой!

Он отправился на шоссе и поднял руку. Остановилась легковая машина с немецкими офицерами. Они

расхохотались: маленький, в старой шинели до пят, в спадающей на лоб фуражке Николай, конечно, был для немцев очень смешон. Это в первый момент его и спасло. А потом — и то, что на ломаный русский язык хозяев, спросивших, куда «доблестный воин» держит путь, он на чистом немецком ответил, что отпущен из плена, и даже показал им отпускной аусвайс от 24 октября 1941 года, который хранит и поныне:

«Военнопленный Николай Ремов, украинец, рожденный 7 января 1924 года в Москве, отпущен из плена в село Щастновку Бобровицкого района Черниговской области на следующих условиях:

1. Военнопленный будет воздерживаться от любых враждебных действий против немецкого народа, особенно против немецкого вермахта.

2. Он тотчас отправится в указанную зону и в течение восьми дней представится в ближайшее немецкое учреждение.

3. Изменение местопребывания производится только с разрешения немецких властей.

4. Он всегда носит это удостоверение при себе.

5. Военнопленный свое военное обмундирование возвращает своему бургомистру».

А на обороте этой бумаги за подписью Ремова значатся и такие слова:

«Я утверждаю, что все данные мной офицеру абвера разъяснения о моей персоне, о моем поведении дома и вообще о моем воинском и политическом положении соответствуют истине. Торжественные слова этого заявления были мне сообщены в украинском и русском переводах за моей подписью».

А после нескольких лестных фраз Николая о немецкой справедливости и доброте фюрера-освободителя офицеры так раздобрились, что предложили подвезти Ремова к Житомиру. Это не очень приближало Печенкина к Щастновке, но зато отдаляло от Бердичева. Чувствуя, как все дальше за спиной остается лагерь, где вот-вот его хватится рыжеусый фельдфебель, Николай со всей возможной жалостливостью пересказывал офицерам «свою» жизнь. Говорил об отце, священнике Василии Ремове, еще в тридцатые годы высланном большевиками. О матери, учительнице немецкого, и о долгой разлуке с ней: мать тяжело

заболела и лежала в московской больнице, а его отправила доучиваться в Киев, к родственнику, заводскому инженеру. О том, как родственник погиб в своей квартире во время бомбежки и как сам Николай, отправленный с другими школьниками на окопные работы, попал в плен.

Это была первая и успешная проверка его легенды. Поверив, что Николай сын священника, офицеры о многом его расспрашивали и высадили, повернув к своей части, всего километрах в пятнадцати от Житомира.

Лил холодный дождь, но, не желая рисковать, Николай свернул с большака на проселки и, вымокнув до последней нитки, к темноте достиг городской окраины. Мрак, холод и бесприютность ожидали его в настороженном городе. Проходившая мимо дерева, под которым он спрятался, древняя старушка испуганно шарахнулась в сторону, когда Николай попросился на ночлег:

— Что ты, что ты?! Сама у золовки живу, а она женщина злая. Рвет и мечет! Дочка ее где-то на фронте — врачом. А весточку как теперь получить, коли под немцем очутились?

Нет, старушка не показалась ему чужой. И Николай, несмотря на отказ, все плелся за ней, пока та не сдалась.

— Ладно! Зайди!

А «злая» золовка, рослая женщина с басовитым голосом, была первой в ряду людей, обогревших его после плена. Она появилась на пороге, когда с мокрой шинели Николая уже накапала на пол изрядная лужа.

— Ба! Да у нас гости! — всплеснула руками и никаких объяснений слушать не стала: — Раздевайся-ка, малый! Все до нитки сьмай — в корыто сядешь. Вижу — из плена. Да не стесняйся — я тебе мать!

Она сожгла его полуистлевшее, завшивленное белье, набрала по соседям замену. Он спал в чистой постели, а уходил назавтра с противогазной сумкой, набитой лепешками.

Немало таких сердечных людей встретил Печенкин на пути к заветной Щастиновке. Они давали Николаю еду и ночлег. Укрывали от опасности. Не раз предлагали остаться у них насовсем. А он все шел и шел,

пока с опухшими от долгой дороги ногами не предстал перед женщиной с мягким и глубоким взглядом.

— Евгения Сергеевна! Прошел огородами — никто не видел. Если не ко двору — прощайте!

— Нет, отчего же? — хозяйка и мига не колебалась. — Входи!

Так этот крайний в Щастновке дом и стал для Николая навек родным.

Николай пробыл в нем до тех пор, пока не пришел в себя и пока люди не привыкли к тому, что он знакомый Потапенко по Киеву, отпущен из плена. И больше о нем при немцах в селе никто ничего не узнал, хотя и жили с Евгенией Сергеевной две племянницы — Надя и Валя. Все узнал лишь один человек, к которому Евгения Сергеевна вскоре направила Николая.

Щуплый, невзрачный с виду Федор Евсеевич Будник прибывал подметку. Подняв на миг крупноватую для его небольшого роста и уже поседевшую голову, он будто не заметил гостя, вошедшего в хату. И только когда Николай поставил перед ним старенькие сапожки Евгении Сергеевны, улыбнулся и кивнул на табурет:

— Садись, лейтенант.

— Младший лейтенант, — не сразу, растерявшись от такого к нему обращения, уточнил Николай.

— Пеночкин?

— Печейкин, — пришлось снова поправить хозяина.

— Ась?.. — Будник рупором приставил к уху ладонь и с хитрецей подмигнул Николаю: — Все одно, и фамилию, и звание твое забываем. Так? Как теперь-то звать?

— Ремовым.

— Ась?.. А хоть бы и Хреновым!.. Только сам не запутайся. На курсах-то какой язык изучал? Румынский?

— Вы и про курсы знаете?..

— Мил человек, да как же не знать? Вы тут рядом с нами стояли, за девочками бегали...

Николай решил покончить с шутками и перейти к делу.

— Я изучал немецкий.

— Знаю. Не сердись, — уже серьезно ответил и Будник. — Ты, наверно, спросишь сейчас: где партиза-

ны? Как к ним попасть? Ко мне ведь всех пленных и окруженцев люди посылают, как в справочное бюро. Я тут, милый, и родился, и в партию вступал, а потом был на партийной, на советской работе. Так что от людей мне не спрятаться. А с солдатами у меня пока разговор короткий: о партизанах, час придет, сам услышишь, пока ищи себе оружие да подбирай друзей. Но о тебе речь особая. Ты прямо находка для нас. Вот послушай-ка...

Будник был уже немолод и глуховат, из-за чего не взяли его в армию. Из дома при немцах он не выходил: сапожничал. Но едва ли еще кто-нибудь лучше его рассказал бы гостю о «новом порядке». Шила с дратвой Будник раньше не знал, а теперь к нему зачастили с обувкой люди не только из Щастновки, и не ради починки. А он умел обо всем выспросить. Не зря поработал и корреспондентом районной газеты, а перед войной, как рассказала Евгения Сергеевна, отвез в киевское издательство свою повесть «Безотцовщина»: о себе — рос он без родителей.

Николай слушал Будника, не перебивая. Евсеич рассказал, что арестов в селах еще не было: фашисты пока не знают, кто коммунист, кто активист. Но к комендатуре, как мухи к меду, липнут предатели — бывшие кулаки, недобитые белогвардейцы, всякие жулики и проходимцы. Всех их надо выявить, чтобы обезвредить. Активных действий против немцев в районе пока нет. Кое-кто потрясен неудачами нашей армии, часть людей сбита с толку немецкой пропагандой.

— Подожди-ка... — вдруг вспомнил Будник. — Я на фашистов протокол веду! Сейчас принесу...

Он вышел куда-то и вернулся со сложенной пополам школьной тетрадкой, крупно исписанной химическим карандашом. С той самой, которую Николай увидит и еще раз, но только через тридцать лет у дочери Федора Евсеевича в Киеве. И уже с трудом прочтет то, что Будник сам прочитал ему при первом знакомстве в Щастновке:

«Утром всех согнали на сходку, чтобы выбрать старосту села. Мужчины, женщины, дети ждали «гостей» до полудня. Потом появилась бричка, на которой сидели трое: немецкий офицер с переводчиком и какой-то гражданский. Люди расступились, офицер встал перед

ними, боязливо озираясь вокруг и не снимая руки с кобуры пистолета. Вместе с переводчиком поднялся на крыльцо сельсовета. Люди молчали, глядя на гладковыбритое, будто глиняное, лицо офицера. И вот начал он что-то громко и быстро говорить, а поняли все только два слова: Сталин и Гитлер. А потом вышел вперед переводчик и перевел: «Немецкая армия пришла освобождать украинцев, и поэтому ее надо слушаться. Надо убрать хлеб, вернуть взятый из колхоза скот. Чтобы не было саботажа! Чтобы не было партизан! Москва, Ленинград, Харьков, Киев взяты немецкой армией, и про Советскую власть надо забыть... «Это говорил офицер, а после сходки приезжий гражданский рассказывал всем и «подробности»: Сталин якобы улетел в Америку, а Ворошилов застрелился... Люди молчали».

Остальные строки почти невозможно сейчас прочитать в пострадавшем от дождей и времени дневнике Будника — тетрадь нашли под стрехой хаты. Федор Евсеевич, конечно, не писал в нем о тех, кто боролся тогда с этой гнусной вражеской пропагандой. Он и Николаю не открыл в первом разговоре их имен, но заверил, что люди надежные есть повсюду и силы для борьбы растут с каждым днем. Зимой трудно ждать боевых действий, продолжал Будник. Но по весне оккупантам не поздоровится. Только с таким врагом вслепую, без хорошей разведки не поборешься. Нужен при немцах свой, надежный и грамотный, человек!

— Понимаю, ты из одной петли только вылез,— закончил разговор Евсеич,— а я предлагаю тебе сунуть голову в другую. А она может сразу затянуться, стоит дать промах и выдать себя. Но я уже поговорил тут кое с кем из наших коммунистов, а ты решай... Наша просьба такая: попробуй к ним попасть в переводчики! Они их ищут. А тебе, как сказано в аусвайсе, все одно надо в их комендатуру идти, регистрироваться. И ты, Коля, ступай. Надо!..

Регистрироваться Николаю пришлось идти в Новую Басань. К этому району относилась тогда Щастновка, а не к Бобровицкому, как он ошибочно указал в аусвайсе. Но эта ошибка оказалась ему на руку.

Отшагав десять километров, Николай немецкую комендатуру в Новой Басани отыскал без расспросов — по длинной очереди людей, которых привели сюда

нужда и беды. Многие ожидали приема уже не первый день.

Исхудалого паренька в старой, до пят, шинели заметили сразу.

— Хорош! — изумился кто-то.

Не успел Николай оглядеться, как на крыльцо вышел невзрачного вида немец и, важно вздернув голову, прошагал мимо притихшей толпы.

Это был Карл Штарк, сам комендант. Будь что будет! Николай скинул картуз и встал на дороге у Штарка.

— Гутен таг, герр комендант!

Тому, что оборванец знает немецкий язык, Штарк изумился до крайности. Вскоре Николай уже стоял в его кабинете.

Наскоро проверив, как Николай говорит по-немецки, Штарк позвонил по телефону:

— Я нашел тебе переводчика, Вальтер! За тобой коробка сигар. Не мужчина — где его взять? Но мужского пола — будь уверен! Подросток. Сможешь распрощаться с учительницей...

Штарк и направил со своей запиской «сына пастора Ремова» в Бобровицу — к крайсландсвиртшаффюреру Вальтеру Бибраху. Этой записки и отпускного свидетельства оказалось достаточно, чтобы на другой день Николай получил у Бибраха и работу, и комнату в «немецком» доме, где жил сам «хозяин».

Бибрах принял «сына пастора Ремова» так, словно его только и ждал. В кабинете продержал Николая недолго, заглянув в его бумажки, только спросил:

— Почему решил поступить на немецкую службу?

— Я голоден, герр комендант, — вздохнув, объяснил Николай. — Но я молод и голодной смертью умирать не хочу. Надеяться мне теперь не на кого. Я сирота. Тетя из Щастновки приютила меня на время, а дальше надо кормиться самому. За чужой счет я жить не могу, меня так воспитали родители...

Бибрах, непрестанно дымивший сигарой, прохрипел:

— Гут, Кляйнер! Я тебе верю! Пошли обедать! Главное, по-немецки говоришь прилично.

Бибрах завел его на кухню к дородной и еще красивой женщине лет сорока:

— Это фрау Ольга, моя кухарка. Скажи ей, чтобы дала тебе умыться... Потом провел его в большую комнату, где за обеденным столом уже сидели пять или шесть немецких офицеров.

— Господа! — сказал Бибрах. — Представляю вам Николауса Ремова, нашего нового переводчика. Николаус будет с нами жить и работать.

Он был пока вежлив, этот хрипловатый, пропахший сигарным дымом астматик с круглой, как шар, и наголо выбритой головой. Только губы его не слушались и кривились в недоброй и двусмысленной улыбке. Может, от этой улыбки Николаю стало не по себе. А может, от звучащей из радиоприемника сентиментальной немецкой песенки или от ледяного молчания, с которым встретили его, оборванца, настороженные офицеры. А сам Бибрах, указав Николаю свободный стул, вдруг грозно воззрился на Ольгу:

— Где Мария? И тут же приказал Николаю: — Скажи ей, пусть найдет Марию!.. Это еще одна переводчица. Она живет в нашем доме. Пусть фрау Ольга скажет ей, что нельзя заставлять немецких офицеров ее ожидать.

Когда Ольга ушла, Бибрах обратился к офицерам.

— Господа! Никто больше не обижал фрейлейн Марию? Я еще раз запрещаю заходить в ее комнату или говорить при ней сальности. Со своими переводчицами мы должны быть джентльменами. — И, не выдержав серьезного тона, сострил: — Чтобы покорить даму, не обязательно запоры на ее дверях ломать. Так, Вилли?

Бибрах посмотрел на своего соседа, молодцеватого розовощекого офицера. За него ответил кто-то другой:

— Так точно! Его переводчица сама запоры на его дверях сломала!

Грянул хохот, и от него, как от удара, вспыхнуло лицо тоненькой, лет восемнадцати, девушки, с венцом черных кос на голове — она неслышно вошла и замерла у входа.

— Я плохо себя чувствую... — тихо сказала по-немецки. — Позвольте мне обедать не тут, а с украинскими служащими. Позвольте! Прошу вас!

В наступившей тишине только и слышно было, как сопит, мрачно глядя на нее, зондерфюрер Бибрах.

— Я подумаю. А пока обедайте в вашей комнате. Но в последний раз — предупреждаю, фрейлейн Мария!..

С Николая Бибрах весь обед не спускал глаз.

Закончив есть, Николай встал из-за стола, подошел к пианино.

— Позвольте проиграть эту красивую мелодию. Боюсь забыть...

— О! Ты умеешь играть? — удивился Бибрах; услышав, как легко Николай подбирает только что отзвучавшую по радио немецкую песенку.

— Учился. Правда, на баяне, — вздохнул Николай.

— Будет тебе баян! — вдруг пообещал Бибрах. — Но сначала ты сходишь в полицию, прилично оденешься. Немецкий служащий должен быть опрятным. В комендатуру в таком виде являться запрещаю!

Это было утверждением Николая в должности. Он, поняв это, не испытал ни радости, ни удивления, а только тяжесть, взваленную на плечи. Ночью он долго размышлял над поведением коменданта: тот явно спешил выдать Николаю аванс на особо доверительные с ним отношения.

— А теперь поговорим серьезно! — сказал Бибрах, когда они остались в столовой одни. — Ты действительно, Николаус, понимаешь все, что я тебе говорю? Не врешь?.. Чего не понял, попроси повторить, не стесняйся. Учись, я дам тебе хорошие словари. Вижу, парень ты из культурной семьи, смывленный. Мне нравится, что ты музыкален. В фатерлянде, в Баварии, я был бургомистром в одном городке и всегда поддерживал музыкантов. Мы проводили интересные вечера. Я даже читал на них свои стихи.

В доказательство Бибрах прочел несколько строк «о синем утре в зеленых Альпах», а потом на полуслове прищурился и остро взгляделся в Николая:

— Что делать, Кляйнер? — спросил неожиданно. — Я хочу к вашим людям быть добрым. А ко мне приходят доносчики и говорят: тот активист, а этот коммунист. Я не жандарм и лично никого бы не тронул. Но ведь доносчики не уймутся, дойдут до гестапо! И что тогда будет с Вальтером Бибрахом? А?

— Не знаю, — Николай даже растерялся. — У вас трудное положение...

— О нет, Кляйнер! — Бибрах, видимо рассчитывая на такой эффект, расхохотался. — Не стоит так беспокоиться! Я не дурак! Дураки — ваши доносчики! Они благодарят нас за то, что мы принесли им свободу. Но разве охотник ходит в лес освобождать зайцев? Они нужны ему на жаркое — так или нет? А?

— Наверно, так, — кое-как выдавил из себя Николай.

— Только так! — хлопнул Бибрах по столу ладонью и вдруг снова наклонился к Николаю: — Скажи, Кляйнер, а как ты сам? Вот будь ты сейчас за линией фронта, ты был бы с Красной Армией? А? Скажи честно. Не трусь!..

— Не знаю... — Николай медленно подыскивал нужный ответ. — Меня, наверно, в армию не взяли бы... По возрасту... А если бы взяли... Вы понимаете: все-таки меня там вырастили и выучили...

— Хватит! — Бибрах не дал ему договорить до конца. — Ты не умеешь врать! Значит, я могу рассчитывать на твою порядочность. Скажи, ты можешь обмануть того, кто делает тебе добро?

— Я? Никогда!

— Я буду добр к тебе, Николаус! — заявил Бибрах. — Ты будешь получать шестьдесят марок, как немецкий солдат. Я дам тебе пистолет, чтобы ты мог защищать себя... Но не пытайся обмануть! Иначе... Согласен?

— Разумеется, герр комендант! Кто же хочет себе плохого?

— Верю! И усвой раз и навсегда: большевикам возврата нет. Мы переделаем Украину! Когда на меня надели военную форму и как старого члена национал-социалистической партии послали в распоряжение рейхскомиссариата, а потом сюда, я имел разговор с высокопоставленным чиновником. Он рассказал, чем будет Украина после войны. Она покроется сетью немецких замков и имений. Это свершится. Все, что задумывал фюрер, свершилось! Он — воплощение судьбы нашего народа!..

Бибрах продемонстрировал перед Николаем незаурядные качества пропагандиста и оратора, но закончил этот высокопарный бред неожиданно:

— Село тут есть, Озеряне называется. Под имение

места лучше не найти. Мне три года назад исполнилось пятьдесят. Я кое-чего в жизни добился. Но я никогда не был богатым. А у меня четверо детей — жена за это получила имперский крест от фюрера. И я очень хочу, Кляйнер, стать богатым. Я заслужу это имение. И тогда ты убедишься, что того, кто будет верен мне, я сумею отблагодарить.

Словно в счет этой будущей «благодарности» Бибрах сам проводил Николая в полицию, на склад награбленного имущества, и приказал тучному, вислоусому старику:

— Герр Макаренко! Надо одеть этого парня во все лучшее! Он будет моим переводчиком.

— Яволь! — браво откликнулся начальник полиции, но тут же с кислой миной сказал Николаю: — Переведи: самое лучшее — это советская военная форма. Все остальное — старье.

— Неси! — нахмурился Бибрах.

— Яволь! — гаркнул снова начальник полиции и принес почти новенькое офицерское обмундирование — брюки галифе из синей диагонали, суконную гимнастерку, и даже португую. — Вот! Только все велико...

Бибрах сходил с Николаем и к портному, жившему неподалеку, пообещал ему двести граммов сливочного масла за перешивку, а затем повел переводчика в «немецкий» дом. В коридор жилой половины этого большого дома выходили четыре двери. За двумя, как объяснил Бибрах, жили его помощники, немецкие офицеры, за третьей — фрейлейн Мария.

— Я и тебе, Кляйнер, запрещаю к ней заходить! — предупредил Бибрах и толкнул дверь в последнюю комнату с двумя солдатскими койками и столом у единственного окошка. — Будешь жить с моим кучером Григорием Бергером.

Бибрах умолк только затем, чтобы раскурить сигару, а потом удивил Николая откровенностью:

— Мне сейчас переводит фрау лерерин Литвиненко. Язык знает неплохо и, поскольку муж ее был агрономом, разбирается в хозяйственных терминах. Но муж ее воевал против нас, погиб где-то в плену, а ее сын, офицер, возможно, еще воюет против нас. Я и на это наплевал бы, потому что сына неминуемо ждет судьба отца. Но фрау Литвиненко слишком открыто оплаки-

вает мужа и гордится сыном. К тому же я много езжу по району, Кляйнер, а с женщиной ездить неудобно. Так что ты займешь ее место, будешь старшим переводчиком.

— Яволь! — почти как начальник полиции гаркнул в ответ Николай. А ночью, лежа в постели, он перебирал в памяти разговоры с Бибрахом. Да, придется привыкать к тому, что этот боров называет его Малышом. Наверно, хочет выглядеть эдаким папашей-покровителем. Пусть! Это Николаю только на руку... Но как бы ни старался Бибрах казаться добреньким, он лютый враг, и с ним надо быть на чеку. Как и с кучером его Григорием Бергером, спавшим на соседней койке.

Но всего больше в ту первую ночь Николай думал о тех украинцах, которых успел повстречать. Как только он подошел к крыльцу комендатуры, на его плечо опустил руку длинный, словно жердь, мужчина лет тридцати и властно повернул к себе:

— Ты кто, хлопец? Зачем пожаловал? — В глубоко посаженных глазах мужчины будто лезвия стальные поблескивали. — А зачем тебе Бибрах? Могу познакомиться, я шофер его. Вон — машина! — Он кивнул на маленький «опель», а когда Николай показал ему записку Штарка, вызвал из кабинета Бибраха фрау лерерин.

Потом Николай встретил этого длинного парня уже вечером, когда выходил в туалет. Шофер будто только его и дожидался:

— Петро Рябуха, — сказал, протянув руку. — Бывший техник-лейтенант из автороты. Не скрываю, потому что так в полиции зарегистрирован. Не комиссар ведь — чего скрывать? А техники, что у них, что у нас, одинаковые. Не все ли равно кого возить? А ты, я слышал, москвич? Значит, будем знакомы! — И он повернулся к стоявшему рядом мужчине в старом, потертом кожаном пальто: — Вот, Никитич... Ты спрашивал про москвича. Познакомься: Ремов Николай.

— Нелин... — Назвавшись, этот человек окутал себя махорочным дымом. — А интересовался я не им самим, — объяснил Петру. — Я только хотел его спросить, стоят ли еще там, в Москве, Минин с Пожарским?

— Стоят, — Николай пожал плечами.

— А Лобное место цело?

— Чего ему сделается? Но я давно из Москвы.

— А мне говорили, что будто Лобного места нет!

Нелин ушел, взглянув на Печенкина так, будто для него, Николая, это место и приготовлено.

Но больше всего мысли Николая занимала в ту ночь учительница Литвиненко. Это ее, раньше чем попал он к Бибраху, вызвал Рябуха в коридор комендатуры и сказал:

— Наталья Александровна, этот хлопчик говорит, что прислан из Новой Басани переводчиком.

— Значит, это вы? — Худенькая немолодая женщина, выйдя из кабинета, устало прислонилась к стене и будто обласкала Николая теплым, задумчивым взглядом. — Я слышала о вас. Была при разговоре господина Бибраха со Штарком. А вы совсем школьник. После десятого? Как и мой сын. Он танкист, если жив, где-то воюет...

Литвиненко словно успокаивала Николая, понимая, как ему важно слышать эти ее слова о ровеснике. Николая с первых минут потянуло к ней. Но это его испугало, потому что дальше Литвиненко вела себя очень странно. Когда Бибрах прислал ее в «немецкий» дом со словарями и бумагами для перевода, Николай разговорился о себе, чтобы вызвать и учительницу на откровенность. Литвиненко слушала его с явным сочувствием, а потом вдруг изменилась в лице.

— Полно! Не может быть! Ты был в лагере под Кременчугом? Ты жил в Щастновке? Это наваждение какое-то! — И ушла.

...Где-то часы пробили полночь. По коридору в свои комнаты протопали гитлеровцы, они после ужина слушали последние известия из Берлина и играли в карты. Похрапывая, спал прямо в верхней одежде верзила Бергер. Тарахтевший весь вечер дизель подержал на скудном пайке невыключенную Николаем электролампочку еще с полчаса и замолк. Все затихло в селе, словно умерло. Только сердце Печенкина стучало и стучало натруженным движком, давая неровный свет тревожным воспоминаниям о пережитом дне. Не оплошал ли в чем-нибудь? Кто все-таки эта поседевшая учительница — друг или враг? А Мария? На что, кроме слез, способна эта симпатичная девушка? Кто ее друзья?

ДНЕВНИК НИНЫ ФУРТАК

«...Из Сухини в Бобровицу шли через Рудьковку. Там заглянули к Марии Нагоге — долго сидели в ее саду и разговаривали. Маруся умеет хорошо рассказывать разные смешные истории. К тому же она поэтесса, я читала ее стихотворения. Она печатала их в районной газете. Талантливая девушка. Мы говорили о Маяковском, она декламировала его стихи».

На первых порах жизни Николая в Бобровице пяток довоенных школьных тетрадок да стопка стандартных бланков «Приймального акта Укрзаготплодоовоща», использованных вместо писчей бумаги, немало сказали бы ему и об авторе, и о людях Бобровицы.

«Я пришла из школы. Поужинала и вышла на улицу. Было тихо и холодно. Я ходила взад-вперед по дороге перед своим домом. Восточная часть неба была укрыта белыми облаками, а среди них плавал золотой месяц. К западу от дороги высились деревья. Впереди сверкали крупными звез-



дами огни сахарного завода. Одиночества не чувствовалось, меня будто окружила целая компания друзей».

Что этот дом — Фуртаков, сказал бы любой старожил, прочитав строки из дневника Нины. И добавил бы: «А пишет Нина, дочь Фуртаков на батькиных бумагах, был Федор бухгалтером в заготконторе. В первые дни войны погиб».

Фуртаки в Бобровице жили давно. Здесь мать с отцом первыми вступили в колхоз. Ребята окраины, как они говорили «кутка», росли, не скучая. Яшка Удод, по прозвищу Яшкин-Пушкин — за то, что стихи сочинял и за начитанность, создал тут самодеятельный театр. Ребята ставили даже «Лесную сказку» Леси Украинки. И Нина играла в спектакле, а под оркестр из гармошки, балалайки и мандолины пела. За четыре дня до войны она отличницей окончила десятилетку.

Ее дневник привел бы Николая и в школу, и в хату с земляным полом и низеньким потолком, с длинной лавкой в горнице, с нарами и русской печью («в зимнюю пору это моя спальня и рабочий кабинет»). И — в ее комнатку, глядевшую в сад («о мое окно скребуться стылые ветки вишен»).

Там застать Нину чаще всего можно было за книгой.

«Весь день читала «Анну Каренину»... Читала «Происхождение видов» Дарвина. Нужно выработать силу воли, упорство и читать научные книги, ибо перспектива будущего без достаточного развития не особенно привлекательна...»

Она умела восхищаться и людьми. Вглядывалась в каждого, чтобы понять: что за человек.

«Люблю дружескую веселую компанию, общество, люблю поговорить со всеми и с каждым. Все люди должны жить дружной семьей. Эх, если бы все обращались друг с другом так, как я часто мечтаю: тепло, вежливо, по-братски!..»

Училась четко оценивать в людях главное:

«Моя собеседница оказалась умной девушкой. Говорили с ней о нашем новом времени, когда дети бедняков могут свободно учиться. У нее правильные мысли».

Немного трусила перед жизнью:

«Скоро и мне придется поступать в вуз, жить в об-

шестве незнакомых людей, а природа, кажется, не сделала меня баловнем фортуны и не даровала мне ни красоты, ни большого ума, ни талантов. Каким-то человеком я буду?»

Нина вела дневник для себя. В школьные годы никому его не показывала. Я же впервые услышал о нем в Подольске — от Виктора Литвиненко. Бывший танкист показал мне групповую фотографию с подписью: «Выпускники X класса Бобровицкой СШ № 1, 1941 г. Червень» — фотографию того самого класса, руководителем которого был Алексей Никитич Нелин. Виктор отыскал на ней своих друзей — танкистов. Александра Пинчука — он погиб на войне и Анатолия Моисеева — он сейчас юрист в Донецке. И указал на невысокую круглолицую девушку, стоящую в последнем ряду.

— Узнали Нину Фуртак?.. Она до сих пор не дает нам чувствовать себя пожилыми людьми. Не Нина, едва ли мы собрались бы четверть века спустя всем классом в Бобровице!.. Вот, полюбуйте: это мы, но нынешние. А это — Нина, теперь уже Нина Федоровна Басюк...

Я поразился: через двадцать пять лет Нина в белом платье, с высокой прической, казалась той же десятиклассницей, но не грустной, как на школьной фотографии, а безудержно улыбающейся.

— Видно, жизнь ее удачно сложилась, — заметил я.

— Как сказать... Скорее, трудно! Как и у всех нас.

Действительно, нелегко. «После освобождения Бобровицы, осенью 1943 года, я поступила в Нежинский пединститут имени Гоголя, — написала мне Нина. — Это были трудные годы не только для меня, но и для всех студентов. Еще шла война. Аудитории бывшего лицея князя Безбородко, где когда-то учился Гоголь, не отапливались. Мы просиживали там по восемь и по десять академических часов, а потом еще работали в лаборатории. Я училась на физико-математическом факультете. В общежитии тоже было холодно, угольная пыль не хотела гореть в печках. Часто дежурили по ночам в госпитале, питались кое-как. Кроме того, было много дел в факультетском комсомольском бюро, куда сразу меня выбрали: организация субботников, художественная самодеятельность, отстающие студенты, рейдовые бригады, которые брали на учет семьи наи-

более нуждающихся фронтовиков для оказания им материальной помощи, работа на приусадебном участке института, организация дежурств в столовой, сбор подарков для отправки на фронт в действующую армию и многие другие задания.

Потом заболела мама, материальной помощи ждать было не от кого, и три последних курса, поступив работать, я оканчивала заочно. Так очутилась я на Тернопольщине, в городе Лановцы, где не хватало педагогов. В нашей школе было только пять учителей с высшим образованием. Я в ней работаю уже 25 лет».

Я узнал, что Нина Федоровна вырастила и выдала замуж двоих дочерей, они — технологи. Гордится и сыном своим, семиклассником Гриней. Но она и прежняя книгочейка, и, как в бытность школьницей, пишет стихи.

Готовь себя, мой друг, всечасно
На вечный бой,
Не жги мгновений понапрасну
В игре пустой!
Учись искусству наступленья
На крепость зла,
Но чтоб любовь и в пораженьи
С тобою шла!..

Не правда ли, какие молодые стихи!

«Я люблю людей и общество. В юности мечтала о товарищах, с которыми общаться интересно, поучительно, принимала только истинную привязанность людей друг к другу, а не случайную компанию. И что же, друзья детства и юности остались мне верными до сих пор».

Бесспорно, и верность старых друзей прибавила света ее улыбке. Но и горячая преданность новых, уже из ее двадцати школьных выпусков. Бывшие ученики много и часто пишут ей. Письма их полны признательности.

«Я не могу изложить всех своих чувств к Вам на бумаге, но если б Вы были сейчас рядом со мной, я обнял бы Вас, как родную мать».

«Добрый день, дорогая мамочка!.. Я ждал Вашего письма, как дерево ждет солнца и весны. Привет Вам от меня, как другу, как матери».

«Сегодня радостный день... Меня приняли в партию. А когда вручали партийный билет и поздравили,

то я маленько покраснел и чуть не поцеловал полковника, который вручал мне документ. Забылись все тревоги, все на свете, и даже мороз был не мороз. И мне хочется сейчас поделиться этой радостью прежде всего с Вами. Почему?.. Вы направили меня с темной дороги на светлый путь жизни. Я благодарен Вам за это навсегда...»

«Написанные слова старят бумагу, и посылать их мне не хочется. Вот поговорить бы с Вами! На меня даже сами звуки Вашей речи хорошо действовали. Сказать трудно, сколько, но очень много раз Вы мой мозг ворошили. Рассказать хочется и про самовоспитание, на которое Вы натолкнули. Много причин для письма, но не передадут всего строчки».

Ей и рапортуют со всех концов страны, и делятся сокровенным:

«Как поступил в институт, подумал, что схватил наконец судьбу за ноги, да чуть с вышины и не сверзился... Обнаружил, что мне нельзя доверять власть. Я безжалостный к провинностям, к нарушениям дисциплины».

Получит Нина Федоровна такое письмо и идет из дома в школу, обдумывая ответ и улыбаясь.

Да, и дом свой, и семью, свои отношения с избранным делом, с людьми и миром Нина Федоровна сумела построить так, что может жить с хорошим настроением. Но все-таки основа этого настроения видится мне вдалеке — еще в ее военной юности. Недаром Нина пишет:

«Бобровица для меня — это самый лучший город в мире. В свои не очень частые посещения родного местечка брожу по его улицам, а чаще всего вдоль берега тихой речки Быстрицы и снова мыслями переносюсь на много лет назад, а чаще всего в войну...»

Зачем? Ответ простой: война никого от себя не отпускает. Это я понял еще лучше, прочитав Нинин школьный дневник.

Когда я попросил его у владелицы, она сначала ответила:

«Ценного в нем мало, ведь личность я вовсе не героическая». Но потом, как и ожидалось, она смогла оценить свой дневник не только с личных позиций. «...Но он, мой дневник, теперь уже, видимо, и документ,

хотя бы в том отношении, что кое-что говорит о моем поколении и о довоенной сельской молодежи. Так что посылаю дневник на ваше усмотрение».

Нина Федоровна права. Ее дневник воспринимается документом: он показывает, какими она и ее ровесницы встречали войну и какого мужества она потребовала от них.

«Как я мечтала о богатой духовной жизни, о высших наслаждениях красотой дружбы, искусством, без которого не мыслила свое существование. И очутиться на самой низшей ступени человеческой жизни! Так больно, так обидно за себя и людей. Разве я сейчас человек?»

Этот листок из студеного декабря сорок первого года был тайным плачем ее по тому главному, о чем она в полный голос напишет после войны:

«В юности я не любила никаких других праздников, обычаев и традиций, кроме наших советских. И вот, верите ли, во время оккупации мне часто снились цветные сны с красными флагами на майской демонстрации, с веселыми лицами людей, и эти сны я помню отчетливо до сих пор».

Сколько сумела, Нина после прихода фашистов пряталась дома, хотя они и до их «кутка» добрались: стали выгонять молодежь на «общественные работы». Бригадиру, назначенному немцами, мать говорила, что дочь больна, но Нине советовала:

— Что же ты одна тут казнишься? Ходи со всеми, не отбивайся от людей. Чего высидишь? Только беду!

— Не могу я на них работать!

— Заставят силой. Да и что делать, если у нас с тобой в доме шаром покати. Они в месяц пуд патоки и десять килограммов зерновых отходов на человека сулят...

Не сдалась Нина и после того, как мать сказала однажды:

— Вашего классного руководителя видела — Нелина.

— Алексея Никитича?!

— Возле молотилки работал, полову отгребал...

— Значит, и он?!

— Что — он?! — рассердилась мать. — У него ни кола, ни двора. С голоду ему помирать?!

— Да уж лучше умереть!

Но и, выйдя со всеми на работу в бывшее совхозное отделение Травкино, Нина долго ни с кем не разговаривала. Те, кто был ей раньше близок, или погибли уже на фронте, как отец ее, как верховод их «кутка» Яшкин-Пушкин, или где-то далеко сражались с врагом, как ее одноклассники — «три танкиста».

«Неужели же так можно жить?..» «Но ведь ты живешь?» — говорит мне внутренний голос. «Да, живу, но только потому, что все-таки надеюсь на будущее. Когда же, когда окончится этот тяжелый, гнетущий сон, придет светлый и радостный миг пробуждения?»

Потом она увидела Марию Нагогу — ту смуглолицую девушку из Рудьковки, с которой совсем недавно рассуждали они о Маяковском. Марию провезли мимо их дома на бричке под конвоем полицаев. Нина выскочила на дорогу, окликнула:

— Мария!

Нагога ее не услышала. А полицейский — она узнала в нем Ивана Бугая — расплылся в глупой улыбке:

— Кончилась Мария, она теперь «фреля» Мария!

А мать, возвратясь с базара, сказала:

— Твоя Мария в «собачнике» работает переводчицей. Про нее пока плохого не говорят. А вот ваша школьная красавица Наташка Белаш — она тоже переводчица, — путается с немецким офицером. Учительницу Литвиненко в переводчицы забрали...

— Наталью Александровну?

— Отвели под конвоем.

Нина обрадовалась, когда встретила Нелина. Им пришлось вместе убирать снег с полотна железной дороги, которую немцы «перешивали» с нашей, широкой колеи, на свою, узкую. Нина не удержалась, спросила своего классного руководителя и о Марии и об учительнице Литвиненко: как расценить их поведение?

Нелин, весь обросший, постаревший, посмотрел на нее вроде бы безразлично, но, уловив момент, когда возле них никого не было, ответил:

— А я рассказывал в классе, как в детстве волка за собаку принял и салом кормил?

— Да. Ну и что?

— Еще страшнее — человека за волка принять... Не спеши с выводами.

Она бы и не торопилась, если бы вскоре не услышала от людей, что и сам Нелли пристроился: возит хлеб с пекарни немцам в столовую!

Перед Новым годом в маленькое оконце их дома часто и резко постучали:

— Нинка! Философ! Где ты? Это я, Лида Данильченко!..

Нина спрыгнула с печи. В их поставленную на растерзание всем ветрам хату вбежала ее бывшая одноклассница.

— Ой, Лидуша, как хорошо, что ты в Бобровице! Надо обо всем поговорить!

— Обязательно, Нина,— скороговоркой отозвалась Лида.— Только не сейчас. Понимаешь, я тороплюсь. Дело вот в чем. Ты мне, думаю, не откажешь. Я тебя видела в черном креп-жоржетовом платье. Оно такое красивое! Дай мне его на вечер. Меня пригласили в одну компанию. Там, возможно, мой последний шанс — понимаешь? Потом я тебе все-все расскажу.

Нина отдала Лиде платье, и только когда та, так же внезапно, как и пришла, исчезла, спохватилась: «Что за шанс? А как же Виктор Литвиненко? Она же любит его?!»

Нина решила спросить об этом Лиду, когда та принесет платье обратно. Оно вернулось к Нине, но только принесла его не сама Лида. Как рассказали, Лида на новогоднем банкете немецких офицеров очаровала какого-то приезжего «фюрера» и укатила с ним в Нежин. А позже молва выплеснула на суд людской и другую новость: Данильченко устроилась переводчицей к шефу нежинской жандармерии; живет в «его» доме, разъезжает в его машине, щеголяет в сногшибательных нарядах!

А другим зимним метельным днем Нина узнала, что возвратилась в Бобровицу Галя Вакуленко. Нина сразу помчалась к подруге.

— Проходи, Галя будет рада! — открыв дверь, сказала ее мама Александра Филипповна.

Но первой Нина обняла все же не Галю.

— Улечка! Выходи! Тут свои: Нина Фуртак! — звала хозяйка.

— Улечка! Ульяночка! — Нина чуть не расплакалась, чувствуя, как к ней возвращаются и жизнь, и ра-

дость. Она любила свою одноклассницу Ульяну Матвиенко. В доме Ули было шестеро братьев и сестер мал мала меньше. И одна лишь старшая сестра Ганна помогала семье. Потому Уля с малых лет зарабатывала себе на книги, а чтобы быстрее добираться из Макаровки в школу — на лыжи и на велосипед. С ней не все парни брались тягаться в беге. Все побаивались ее прямоты, острого язычка.

Белокурые пряди до плеч, тонкий профиль — Уля была нежной и красивой девушкой. Только грубоватый голос не вязался с ее обликом.

— Видно, род наш здоров был орать на волов! — подшучивала над собой Ульяна.

— Нина! Философ ты наш ненаглядный! — Уля крепко обняла подругу, а потом предупредила: — Только Галю смотри так сильно не обнимай. Она еще совсем больная.

Галя лежала в кровати, исхудавшая до прозрачности.

— Что с тобой стало? — Нина легонько прижалась к подружке.

— Ничего, Ниночка, теперь ничего, — сквозь слезы шептала Галя. — Только сердце болит да истощала вся. И никак не могу согреться.

Галю приняли в Харьковский мединститут, но через считанные недели война забросила ее на хуторок под Харьковом, к дальним родственникам матери. Там впервые Галя увидела фашистов. Они ворвались во двор, перестреляли кур, а в доме, в поисках драгоценностей, повыбрасывали из комода и истоптали сапогами все белье небогатых служащих. Большая семья осталась без работы, без средств и пропитания, если не считать уцелевшего куля муки. С галушками вместо хлеба ели суп из каких-то трав, а потом и кормовые буряки. У Гали началась дистрофия.

Когда было разрешено возвращаться на прежнее местожительство всем, кого война застала в отъезде, Галя собрала силы и дошла до райцентра. Там, в Дергачах, какой-то толстяк охотно подписался как бургомистр под справкой о том, что «управа не суперечить» против отъезда ее на «батьківщину» и объяснил:

— Чужого мусора нам не надо, своего хватает...

Он вписал в справку, выданную Гале, фамилию и

еще одной просительницы, Потапской Антонины Ивановны, чем Галю и спас. У молодой жены советского командира — она пробиралась к родным в Шепетовку — хватило и силы, и доброты, чтобы тащить больную Галю на санках. Так добрались до Харькова. Там, увидев на всех отапливаемых помещениях вокзала таблички «Только для немцев», они с полдня дрожали на морозе, прежде чем отважились переступить со справкой дергачевского бургомистра порог железнодорожной комендатуры и долго объяснять какому-то фашисту, что Галя едет к своей матери, а Потапская ее сопровождает.

Женщины добрались до Ворожбы, а там, осмелев и столкнувшись с немецким часовым за кусок сала, они сели в товарный вагон на ящики, обернутые паклей.

На станции Бобровицы было безлюдно. Поземка заметала руины сожженных и разбитых зданий. Дорогу к городу скрыли сугробы. На два километра они потратили больше часа, но, добравшись до центра, не встретили ни одного человека. Городок казался вымершим.

Галя так иззябла душой и телом, что и на второй день не спускала с матери глаз и всякий раз, как Александра Филипповна направлялась к двери, тревожно спрашивала:

— Мам, ты куда? Не уходи, пожалуйста...

Ей было так хорошо и она так наслаждалась домашним уютом, что Нина не стала говорить о том, что ее так мучило — о Марии Нагоге, Лидии Данильченко, об учительнице Литвиненко, и даже о самом Нелине. А потом Нина жестоко казнила себя за то, что промолчала. Кто знает, возможно, не пришлось бы ей тогда услышать от матери, ходившей в аптеку за аспирином:

— Александра Филипповна и горчичников нам дала. Просила тебя заходить к ним. Галя-то вместе с Ульяной Матвиенко в немецкую комендатуру устроились — переводчицы обе. Литвиненко им помогла.

— Галя и Уля? Не может быть!

— Что ж, врать тебе буду?!

Четвертого апреля 1942 года Нина записала в дневнике:

«Вот и весна. Прекрасная пора! А для меня теперь она проходит бесследно, и теперь я «живой труп», человек без мыслей. Даже не верится мне, что когда-то я могла мечтать, думать, даже писать стихотворения. Куда все это девалось? Или рухнуло все как воздушное сооружение?.. Но я все же не хочу принимать ту жизнь, которая теперь открылась моему взору, в которой главный закон — борьба за существование. Я вижу, как кое-кто ради корысти, ради сытного и покойного житья изменяет своим убеждениям, причем так легко, будто передевается в другое платье. Да спасет меня от этого глубокая вера в то, что добро все-таки победит зло и снова придет на землю золотой век, когда все люди будут счастливы! А пока его нет, то пусть я буду с униженными и оскорбленными, а не с угнетателями, пусть я буду трудиться, как тысячи бедных, и не чувствовать, что тебе живется лучше, чем твоему народу. И с какой это стати? Правду сказал недавно один мой знакомый, что мы раньше только изучали теорию, а теперь надо применить ее на практике. Но как это сделать?! До сих пор я держалась крепко своих старых убеждений, а недавно и у меня промелькнуло сомнение такого порядка: «Не лучше ли выбросить из головы надежды на будущее, на лучшую жизнь, а воспользоваться любым случаем для того, чтобы жить во всем благополучии, ведь все равно я погибну?» Но снова встают передо мной образы лучших людей, преданных своему делу, и мне делается стыдно за свое малодушие, за свое, пусть и мысленное, предательство высших идеалов человечества. Я сейчас одинока! Пойти по легкой дорожке, по которой пошли некоторые бывшие мои товарищи? Нет! Как же я пойду за ними после стольких лет мечтаний о высоких идеях, о справедливости, после мыслей о борьбе за благо народа?! И пусть страдания твои, мой бедный народ, всегда и везде напоминают мне, что я не должна искать личного счастья».

Однажды, когда Нина с матерью раскапывали в поле норы хомяков в надежде поживиться хотя бы горстью зерен, на дороге неподалеку от Фуртаков установилась немецкая бричка.

— Герр Ремофф! — услышала Нина хриловатый голос толстого немецкого офицера. — Вас махен зи дорт?

— Что они там делают? — перевела Нина маме его слова и отвернулась в сторону, увидев, как спрыгнул с брички и поспешил к ним невысокий молодой переводчик.

— Что это вы тут копаете? — спросил он еще издали.

— Вот...— Мать разжала ладонь с горсткой пшеницы...— У хомячков пшеничку занимаем, своей нет.

— Ясно,— вздохнул переводчик.

Это его непрошеное сочувствие Нину особенно и взбесило.

— А вы, господин переводчик, из Германии или в нашей советской школе учились? — спросила она как могла язвительней.

— В советской,— не моргнув глазом, ответил парень.

— Сколько же вам платят, господин?

— Чинка! Не смей!..— Мать встала между ней и переводчиком.— Не сердись на нее, пан перекладач. Девчонка, мозги куриные...

— Ладно...

Что он объяснил своему хозяину, Нина не слышала, но бричка покатила дальше.

— Умереть хочется, мама! — вырвалось тогда у Нины.

И трудно сказать, что случилось бы с нею — такой непримиримой и такой беззащитной, если бы не увидела она однажды под вечер у своих окон учителя Нелина. Алексей Никитич улыбнулся ей — широко и открыто, как бывало на уроках.

— Я буду ждать тебя у реки, за вашим домом,— сказал ей вполголоса.— Очень нужно.

И ушел.

— Я знаю, Нина, ты комсомолка, и верю тебе,— сказал, когда она подошла к нему.— Не завтра, так послезавтра к тебе придут наши люди из леса и спросят Медведя — тогда ищи меня. А если Таракана — беги скорей к Гале Вакуленко, она ему передаст.

— К Гале? Значит, она...

— Значит! — весело перебил ее Нелин.— В крайнем случае, если Галю не найдешь, тогда вызови из комендатуры переводчика Ремова. Только в самом крайнем случае, поняла?

— Ремова?!

— Да! Твой дом мы выбрали для связи с партизанами. Он крайний и к нему по камышам хорошо попасть от реки...

— С партизанами?!!

Нина была счастлива: к ней возвращались юность и правда, весна и красные флаги; к ней, несмотря на смертельную опасность, которая с того вечера будет подстерегать ее ежечасно, возвратилась даже способность писать стихи. Стихи уже не только для себя, но и для тех, кто в лесу, — они распространяли в листовках:

Довольно терпеть насилье врагов!
Ответим на их самовластье борьбой!
Отчизна сзывает смелых сынов —
За волю, за счастье вставайте на бой!
Отчизна вас кличет давно, юнаки:
Все в партизаны, в лесные полки!
Бесстрашными будьте в кровавом бою
За нашу свободу, за Отчизну свою!

Первым из леса, из отряда имени Щорса, в их хату среди ночи постучался Михаил Подлесный, бобровицкий житель. Михаил сказал, что ему надо встретиться с Тараканом. Накормив ночного гостя, Нина, посоветовавшись с матерью, отправила его спать на чердак, где хранилось сено, а сама с трудом дождалась утра, чтобы бежать к Галине. И все-таки дома ее уже не застала. Из комендатуры по Нининой просьбе Галю звала ее мама. Галя с полуслова поняла подругу:

— Пусть ожидает. Таракан придет!..

— Выходит, мы все-таки в одной школе учились? — засмеялся Ремов, входя в дом, и попросил, пока будет разговаривать со связным, подежурить на улице.

Так и повелось. Подлесный стал постоянным связным между Ремовым и отрядом имени Щорса. Появлялся Михаил каждую неделю и всегда на встречу с ним приходил сам Ремов.

Кроме Подлесного на встречу с Ремовым пробирались в хату Фуртаков многие партизаны, заходил даже начальник штаба отряда Борис Кокунов. Много тревожных ночей и дней пережили Нина и ее мать.

«Однажды ночью у нас на чердаке заночевало шестеро парней, — писала мне Нина. — Одни пришли за сведениями из отряда, другие — выполнять боевое за-

дание, третьи — чтобы перебраться к партизанам. А рано утром в хату постучали гитлеровцы. Когда мать им открыла, они объявили, что будут у нас отдыхать, и расположились, кто где захотел. Потом подошла еще ватага, и вскоре весь наш двор заполнился фашистами. Нам притащили в мешках живых кур и приказали варить — враги втянули во двор даже походную кухню. Мы с матерью принялись за работу. Но думали только об одном: «Что будет?» Я каждую минуту ждала, что у меня фрицы попросят лестницу, которую, к счастью, мы успели спрятать, и полезут на чердак. Время тянулось невыносимо медленно. Когда наступил вечер, я, пользуясь темнотой, незаметно передала хлопцам ужин, потому что целый день они ничего не ели. Ночью фашисты неожиданно ушли. Ребята рассказали потом, что они пережили. У них на всех был только автомат, винтовка, гранаты и пистолет. С одним из партизан, Николаем Поповичем, живущим в Боярке, мы недавно вспоминали подробности того дня, который показался нам годом».

Свою опасную вахту Фуртаки несли изо дня в день вплоть до освобождения района.

«МЫ УМРЕМ, А РОДИНА ВЫСТОИТ»

Спасительный для Нины Фуртак визит учителя Нелина был прямым следствием поездки Николая Печенкина в Щастновку — по спешному вызову «сапожника» Федора Будника. Связав себя с партизанскими отрядами, возникшими в лесных урочищах, Бобровицкое подполье сразу стало для партизан важной, незамеченной базой в самом логове оккупантов. Но как и для Нины Фуртак, так и для всех, кому она после визита Нелина открыла дом, с кем сроднилась душой, эти первые полгода фашистской оккупации были самыми тяжкими. Печенкин об этом напишет так:

«Сказать честно, когда мы совещались с Будником о целях моей работы в немецкой комендатуре, то еще не думали о создании боевой подпольной группы. Я должен был, как говорит ныне, внедриться в немецкое учреждение, завоевать доверие его хозяев и вести разведку — только разведку! — передавая все собранное Буднику: он местный, у



него связи со многими селами и людьми, он знает тех, кто готовился уйти в партизаны. Выполняя только это задание, я мог бы уже вносить в борьбу с врагом свой вклад.

Будник заверил меня, что в каждом селе и хуторе есть свои люди. Но он не назвал мне никого, и я не мог обижаться. Будник только пообещал, что меня эти люди найдут, когда настанет время.

Но когда оно настанет? И мог ли я полагаться только на Будника, оставаясь в глазах всех остальных немецким холуем? Таким, скажем, как бывший кулак, назначенный старостой, Степан Зазимко. И даже хуже его: переводчик в глазах людей — правая рука коменданта. И это положение немецкого холуя угнетало меня в первое время невероятно.

В кошмарных снах я до сих пор часто вижу себя в окружении немецких мундиров и снова переживаю уже пережитое. С годами оно не проходит. Все, что происходило, я помню не только по датам, но могу вспомнить и часы, и всю обстановку событий или разговоров тех лет... Кто враги и кто друзья? Как распознать их? Как вести себя, чтобы не стать жертвой ложного шага, опрометчивой неосторожности? Эти мысли не давали мне покоя ни ночью, ни днем...»

Борьба сразу потребовала от Печенкина, ставшего Ремовым, полной меры солдатского мужества, а сверх того, чем он в свои двадцать лет совершенно не обладал, — и способности опираться не на достоинства людей, как его учили с детства, а на пороки, на интриги и козни.

Вислоусый Макаренко, начальник полиции, первым поспешил завоевать симпатии нового переводчика. Макаренко самолично привел к Николаю в комнату портного с ворохом перешитого белья и одежды, а «от себя» принес почти новенькую солдатскую шапку и яловые сапоги.

— Это на дружбу, пан перекладач. Из моих личных запасов.

Коренастый, в широченных шароварах, старый Макаренко походил на гоголевского казака, подгулявшего в шинке. Он и «тютюн да люльку» — кисет с табачком и трубку — извлек из глубин шаровар.

— Ты одягайся, пан перекладач, — просипел, наби-

вая трубку.— А я покурю да побачу, что тут наробил наш портной. Меня не стесняйся. Я пусть старый, а тоже солдат...

— А я не солдат! Не привык одеваться на людях!

— Виноват, забыл... Ты ж сыночек длинногривого? Да я не смотрю! Одевайся!

Но он видел все, потому что, отослав портного, заметил:

— А ты худющий — кожа да кости! Ничего — откормим! Не хватит комендантского харча — скажи, добавлю. Да, а сапоги ты ловко обуваешь — совсем по-солдатски. И портянки мотать обучен. Тоже своим батюшкой?

Николай замер над узлом со старым своим тряпьем. И вдруг почувствовал, что краснеет. Хорошо, что сообразил скрыть свою растерянность гневом.

— Перестаньте, пан начальник! Если я и прибыл сюда плохо одетым, это не дает вам право надо мной издеваться!

И сразу нажил бы в Макаренко смертельного недруга, не догадайся высказать ему «уважение»:

— По русскому обычаю магарыч с меня полагается за обновку. Да что у меня есть сейчас? Но я в долгу не останусь.

Руку, протянутую переводчиком на прощание, Макаренко пожал уже не просто почтительно, но с подобострастием. Николай быстро понял, как надо вести себя с предателями.

Ну, а с Бибрахом? Как вести себя с ним?

Многодетный Бибрах всерьез мечтал осесть помещиком в Озерянах. Николай не раз выслушивал на этот счет его проекты, выезжал с шефом на «рекогносцировку» его будущих владений. Хитрый баварец, рьяно выполняя свои главные обязанности — выжимать все возможное из оккупированных земель, в остальном старался зря не фашиствовать. Когда прибывшая в Бобровицу жандармерия начала, как и повсюду, массовые аресты, он, будучи один на один с Николаем, «разоткровенничался»:

— Дураки! Им чем больше арестов, тем больше чинов! А того не поймут, что если нынче схватили моего соседа, то я не буду ждать, когда схватят меня, а уйду. Куда? Ясно — в партизаны!

Двадцатилетний Николай не верил в его откровенность, не обольщался явным расположением шефа и не переосторожничал, когда, проведя первую бессонную ночь в «собачнике», сказал Бибраху:

— Вы хотите, чтобы я стал переводчиком при вас. Я понимаю ответственность и буду стараться. Но я прошу дать мне хотя бы немного времени, чтобы освоиться в незнакомом городе и потверже почувствовать себя в языке. Нельзя ли мне пока только помогать фрау Лерерин?..

— Фрау Лерерин?..— Бибрах поморщился, но, переглянувшись с офицерами, согласился: — Хорошо! Твоя серьезность по мне! Я потерплю еще ровно десять дней, но ни часа больше! А ты, Кляйнер, должен стараться! У нас много работы!

Николая на этот шаг подтолкнуло безотчетное желание подольше побыть возле учительницы. Она, видимо, ждала, что он придет. И хотя сидела спиной к двери за одним из двух вплотную сдвинутых столов, поднялась навстречу Николаю прежде, чем он обратился к Бибраху, сидевшему напротив.

— Шеф! — учительница оторвала Бибраха от газеты. — Нам с господином Ремовым посмотреть его письменные переводы в другом месте?

— Нет. Вы мне не мешаете. Пусть садится к вашему столу.

Кроме портрета фюрера в просторном кабинете с шеренгами деревянных стульев вдоль голых стен да сейфа ничего больше не было. Слышалось, как в соседней комнате кто-то неумело стучал одним пальцем на машинке. В глубине длинного одноэтажного здания слышались чьи-то невнятные голоса, шелканье на счетах. Все напоминало тихую сельскую канцелярию. А Николай, впервые садясь за стол напротив фашистского коменданта, как предупреждение об опасности, как призыв к мести и осторожности, услышал вдруг и гром вражеской канонады над роковым для себя врагом, и залпы по Штейнгардту. Он понял, что наконец-то прибыл на свой настоящий фронт и вступает в сражение, которое не имеет права проиграть.

А Бибрах вскоре встал и полюбозытствовал:

— Ну как наш новый переводчик, фрау Лерерин?

— Что ж! Для первого раза мальчик сделал хоро-

ший перевод. Погрешности есть, не понял он некоторых принятых у вас сокращений, но это не беда, я ему объясню, мы поправим и можно перевод отдавать на машинку. Однако вот тут...— Она остановила карандаш: — Гроссе кюэ онэ кляйне кюэ...

Бибрах, хрипло засмеявшись, переспросил:

— Гроссе кюэ онэ кляйнэ кюэ?

— Вы не знали, как перевести с русского «яловая»? Потому и написали: «Большая корова без маленькой коровы»? — Литвиненко будто наводящий вопрос Николаю задавала.

Он кивнул, а Бибрах, взяв листок с подчеркнутой строкой, скрылся за дверью.

— Пошел развлекать коллег,— тихонько обронила Наталья Александровна, и, помолчав, подняла на Николая глаза: — Мне, вероятно, следует извиниться перед вами? Перед тобой: я могу ведь и так к тебе обращаться? По праву учителя. Ты в возрасте моего сына. Ты мог быть моим учеником. Когда я тебя слушала, кое в чем усомнилась. Зря, наверное. По тебе видно, что ты действительно перенес что-то страшное. Пусть даже был ты не в кременчугском лагере, но...

— Я был в кременчугском, Наталья Александровна. Это правда.

— А я там искала мужа. Вот он... Скажи,— раскрыв блокнот, Литвиненко показала Николаю фотографию круглолицего, под «ежика» подстриженного мужчины,— ты там не встречал его? — И в глазах Николая сама прочитала ответ.

Десять дней они пробыли рядом в кабинете Бибраха.

Считалось, учительница вводит Ремова в курс дела, совершенствует его язык.

Но она, проверив еще три его письменных перевода, сказала:

— Не морочь мне голову, Коля! Ты лучше знаешь немецкий, чем хочешь представить. Затрудняешься там, где школьник не задумался бы, а где и я спую — как рыба в воде. У тебя не школярские знания — не спорь! В этом я разбираюсь!

— Меня и мама учила, книги читал...

На все его увертки и оговорки она не реагировала, просто не замечала их. Расспросив его еще кое о чем,

сама заторопилась рассказывать о том, что его, новичка, в чужом городе больше всего волновало: «кто есть кто».

Литвиненко сразу открыла ему глаза на переводчицу Вилли Байера, первого помощника Бибраха, после того как Наташка Белаш зашла с Николаем познакомиться.

— Я б подальше от нее. В их семье всегда любили за чужой счет пожить. Ничем не гнушались. А Наташка всех превзошла. Пусть бы жила с этим Байером: это ее личное дело. Но он ей нужен, чтобы грабить других. Уже все в Бобровнице знают: дашь Наташке хорошую взятку — всего от шефа ее добьешься.

— Из кулаков, высланный, — сказала потихоньку, кивая на районного старосту Степана Зазимко. — А теперь возвратился, всем мстить собирается...

Учительница предостерегла Николая: директор банка знает немецкий, а виду не показывает — следит за всеми, вслух жалеет о том, что «от большевиков освободились не сами, а с помощью Гитлера». Она рассказала Николаю обо всем, что за два месяца успела узнать о комендатуре.

Эта самая Крайсландсвиртшафтскомендатур выкачивает из района все, что только возможно, для нужд рейха и вермахта. В комендатуре созданы отделы. Во главе каждого — гитлеровский офицер, а ему приданы местные специалисты и переводчик. Отделов четыре: организация сельскохозяйственного производства, учета и распределения продукции, отдел молока — за производством молока и масла немцы следят с особым рвением и четвертый отдел — растениеводства: табак, свекла, подсолнечник. Но фактически комендатура управляет в районе всем — и райуправой, и старостами, и полицией. Бибрах судит и рядит единолично. Хваткой хозяйственной наделен, работает много, но строго в рамках отведенного времени — с семи утра до шести вечера. Даже когда разъезжает по району. Ровно в шесть комендатура закрывается. Райуправа и всякие старосты, так называемое «украинское самоуправление», ничего без фрицев не решают, даже в мелочах. Поэтому с утра до вечера перед комендатурой толпятся просители: кому справка нужна на выезд, кому разрешение на убой коровы, кому выписать зерновые от-

ходы или бутылку обраты — остатков от переработки молока. У немцев все на строжайшем учете.

Бибрах крут, ни с кем не считается. Он старый нацист. Прибыл в район с явным намерением после войны осесть тут. Поэтому пока как бы репетирует роль будущего «добротого барина». Как-то пришел в комендатуру раздраженным, с ним не поздоровалась на улице аптекарша Александра Филипповна Вакуленко. Бибрах начал на нее орать, но когда аптекарша объяснила, что мужчинам первым положено приветствовать женщин, удивился и долго допытывался у Натальи Александровны: неужто и здесь знают это «немецкое» правило? Бибрах очень практичен, входит в каждую мелочь. Николай попал в точку, объяснив свой приход не идеями и чувствами, а боязнью смерти и голода. Кругозор его узок. Он очень удивился, что Наталья Александровна хорошо знает немецкую литературу. Сам о ней не имеет понятия. Говорит, что некогда было им, старым нацистам, читать: в основном выполняли директивы Гитлера, и только поэтому сумели создать великую и непобедимую Германию.

Все остальные офицеры зависимы от Бибраха, которому дано право отправить любого из них на фронт и отдать под суд. Все они копируют своего крайсландсвиртшафтсфюрера. А он, видимо, авторитетен и в верхах. Похвалялся уже не раз, что с нового года станет хозяином не одного, а трех районов: произойдет какая-то реорганизация. Так что если Николай сумеет войти в доверие к Бибраху, то получит относительную свободу, влияние и авторитет у остальных здешних оккупантов.

Литвиненко обрисовала Николаю, как могла, и каждого зондерфюрера. Рейнский немец Байер — ведаёт отделом организации производства. Он самый богатый из них, сын фабриканта. Учетом и распределением продукции занимается Крумзик — мелкий хозяйчик из Тюрингии, любит распространяться о своей якобы аристократической жизни — с автомобилем и скаковыми лошадьми. За производством молока следит Михель Зайлер, жалкая личность, в прошлом полуграмотный кучер, над которым даже сами фрицы насмеваются. Есть еще Генрих Дросте — «специалист» по техничским культурам, ублюдок, презирающий и попираю-

щий всех неарийцев. Есть еще гитлеровцы — участковые коменданты, в самых крупных селах района — Кобыжче, Ярославке, Рудьковке. Есть несколько сельскохозяйственных рабочих из немцев, живших в Румынии, но знающих и украинский язык. Приехал из «фатерлянда» специалист — занимается колбасным производством, — огромный и толстый, его Бибрах зовет «Герман Второй», намекая на полноту Геринга. Есть мадьяры, охраняющие телефонный коммутатор и железную дорогу. Но это все уже мелкая фашистская сошка. А правят пятеро «картофельных офицеров». Они и живут, и питаются вместе, хотя это не делает их друзьями. Каждый держится особняком, все завидуют Бибраxu. Все по его примеру исправно отправляют в Германию посылки — вплоть до крахмала и поношенных вещей из награбленного.

...Николай рядом с учительницей сидел на первом крупном совещании у Бибраха. «Фюрер» вызвал к себе всех, даже сельских старост. Когда просторный кабинет коменданта, куда снесли все стулья, заполнили вызванные, Николай чуть не задохнулся. Но не от духоты, а от внезапной мысли: «Боже, сколько же тут предателей!..» Он подумал: самое лучшее в его положении было бы — взорвать в комнате пару гранат, а еще лучше — целую связку, чтобы разделаться сразу со всеми.

Расстегивая воротник гимнастерки, он встретил сочувственный взгляд Натальи Александровны и взял себя в руки.

Бибрах злился: ему казалось, что начальник полиции Макаренко медленно собирает в кабинет весь этот неарийский сброд. И комендант свою речь начал с угроз и крика:

— Я собрал вас, чтобы раз навсегда сказать: все вы, тут сидящие, своими головами отвечаете за то, чтобы победоносная немецкая армия, освободившая вас от ига большевиков и теперь стоящая уже под стенами Москвы, была обеспечена и питанием, и одеждой, и фуражом — всем, что нужно для окончательной победы! Запомните: отвечаете головами!

Он долго кричал, все больше разъярясь от крика, пока, чуть не задохнувшись, не опустился на стул, кивком дав знак Наталье Александровне, чтоб она переве-

ла. Он и на учительницу смотрел, разъяренно сопя, словно требовал, чтобы она подхватила этот почти истерический крик. Но Литвиненко, опустив всю брань коменданта, ровно и внятно, словно по книге, прочитала из своего блокнотика:

— Господин комендант подчеркивает, что на вас лежит особая ответственность за снабжение немецкой армии. Он считает, что...

Молча слушали собравшиеся директивы Бибраха о зимовке бывшего колхозного скота: что осталось от общественного стада, собрали на уцелевшие фермы. Но кормов у вермахта не было, поэтому предписывалось скот немедленно раздать на зимний прокорм населению. С тем, однако, чтобы все молоко до единого литра (за нарушение — расстрел!) сдавалось в фонд вермахта. Населению («тем, кто заслужит!») будет вместо молока выдаваться обрат — по пол-литра в неделю. Затем фашист говорил о подготовке к севу: семян у вермахта тоже не было, их предполагалось «занять» у населения и свезти под охраной в указанные комендантом места; не было и техники — последовала команда собрать, откормить и вылечить всех лошадей.

Кажется, только один Зазимко слушал коменданта, полуоткрыв рот. Как только Бибрах называл его имя, староста вскакивал и стоял, шепча: «Будет исполнено...» Стоял все время, пока говорилось о его обязанностях, чем-то напоминая Николаю хищного зверя, уже побывавшего в капкане: на трех пальцах правой руки Зазимко не хватало фаланг. Староста и речь свою, когда взял слово «от всех присутствующих», начал с благодарности Гитлеру «за освобождение» и закончил ею же.

После этой холуйской речи раздалось всего несколько неловких хлопков, сразу заглушенных покашливанием людей и скрипом стульев. Угрюмые взгляды встретил и Николай, когда Бибрах объявил:

— А теперь наш новый переводчик господин Ремов прочтет вам выдержки из последнего приказа немецкого военного командования...

Николай прочитал все точно и ровно, но, принимая после заседания от коменданта поздравление «с успешным началом», почувствовал себя так плохо, что Наталья Александровна встревожилась.

— Ты очень бледен,— сказала, когда они остались одни.— Понимаю: тяжело. Ты, наверно, очень волновался.— И добавила: — Иногда лучше думать, что только играешь роль в скверном спектакле, а не живешь наяву, что этот спектакль окончится и все снова будет хорошо...

Внезапно даже для Бибраха прибыл новый начальник полиции и с такими полномочиями из Чернигова и Нежина, что не стал дожидаться утра, чтобы представиться начальству. Он сразу, несмотря на поздний час, заявился в дом. Николай был вызван из своей комнаты в столовую, где сидевший в халате Бибрах небрежно перебрал ему бумаги невысокого, коренастого человека, с маленьким хитрым лицом и бегающими глазками:

— Скажите господину Шаповалу, что у меня уже имеется начальник полиции и я им доволен.

— В полевой жандармерии им недовольны, господин комендант,— возразил приезжий.— Я прямо отсюда. Есть указание усилить борьбу с подрывными элементами. Вас прямо это не касается. Вы специалист по другой части,— вкрадчиво, но настойчиво внушал прибывший, забирая у Николая свои бумаги.— А положение требует...

Николай успел разглядеть среди его документов и рекомендацию черниговского гестапо, и характеристику от командования какой-то гитлеровской воинской части, где отмечалось, что «господин Федор Шаповал оказал крупные услуги вермахту». Поэтому слова Шаповала Николай перевел Бибраку так, чтобы они сильнее задели самолюбивого коменданта. И тот, не дослушав переводчика, встал:

— Проводите господина Шаповала! Пусть он поступает, как ему предписано, но ко мне в дом, особенно в ночное время, не лезет!

— Хорошо, хорошо! — Шаповал низко поклонился.— Господин комендант еще оценит меня. Я хочу еще спросить: нельзя ли освободить мой дом — в нем сейчас аптека?

— Об этом и речи быть не может! — в сердцах рявкнул Бибрах, а после ухода Шаповала, докуривая в

столовой сигару, еще долго ворчал: — Всякая дрянь имеет наглость являться в дом по ночам.

— Федор Шаповал?! — сразу насторожилась Наталья Александровна, узнав от Николая о визите. — Жил в доме, где аптека?.. Пстой! Он же там большой магазин держал!

А на другой день сообщила:

— Это — страшный человек! Словно с того света! Отца его расстреляли в гражданскую как злобного петлюровского сотника. И Федор был петлюровцем, а потом в банде Ромашки. Это Тамара сказала, она знает...

— Кто?

— Сестра моя, она здесь хирургом в больнице, — машинально ответила Наталья Александровна и сочла нужным оговориться: — От людей она слышала.

Полное же доверие пришло к учительнице и Николаю после того, как встретили они еще одну незваную гостью из давно забытого мира: помещицу — да, бывшую здешнюю помещицу! — Елену Ризову. Рассказывали, что она, прибыв невесть откуда на станцию Бобровица, отдала какому-то фашистскому солдату все свои деньги, чтобы он достал ей для въезда «в свое село» если не тройку, то хотя бы приличную лошадь. Под окна комендатуры ее лихо подвезли на розвальнях. В кабинет Бибраха эта низенькая, толстая женщина лет пятидесяти, с траурной повязкой на рукаве старой каракулевой шубы, вкатилась шумно, как долгожданная хозяйка:

— Наконец-то я дома! — воскликнула по-немецки, положив перед Бибрахом какие-то бумаги. — В этой комнате у нас была гостиная. Конечно, тут все перестроено, но вид из окна и эта старая липа — ее сажал еще мой дед! — все те же...

Ризова покосилась на Николая и Литвиненко.

— Это ваши переводчики? Мы могли бы обойтись и без них. Я знаю немецкий. И румынский. Мой муж, полковник румынской армии, недавно погиб под Одессой. А я — вы уже поняли, господин комендант? — единственная наследница моего отца, помещика Ризова...

Вспомнив потом эту сцену, Николай даже испытал нечто вроде признательности к толстому Бибраху. Тот

даже руки помещице не подал, хотя она ему свою протянула. И стула ей не предложил. Фашисты ни с кем не думали делиться — ни властью, ни награбленным. Бибрах и переводчикам дал знак остаться на месте, а Ризову перебил на полуслове:

— И что вы хотите?

— Ведь дом этот — мой. Тут написано, что...

— В этом доме моя комендатура!

— Во-вторых, мне положено десять гектаров земли. За мужа.— Ризова поправила повязку на рукаве.

— Придется обождать... До окончательной победы...

— Но как же мне жить? Я приехала с сыном, а ему всего шестнадцать...

— Что вы умеете?

— Была в больнице массажисткой. Но сейчас...— Она понизила голос.— Я бы могла вам быть очень полезной. Я все-таки знаю этот район. Я здесь родилась и выросла. И мой долг...— Вы заметили? В моих документах есть бумага из Чернигова, из гестапо...

Бибрах выставил переводчиков за дверь:

— Сейчас вы мне не потребуетесь.

В коридор они вышли потрясенными.

— «Я спать хочу, чешите пятки!» — первым не выдержал Николай.

— Что?

— Скетч мы в школе когда-то разыгрывали. В скетче пионер — им был я — попадает во времена крепостного права и там слышит эти слова от барыни...

— Это не скетч, Коля! — побледнев, с неподдельной тревогой, отозвалась учительница.— Это трагедия! Она первой выдаст мою сестру! С нами Ризова училась в гимназии, а после революции, когда пришли кайзеровцы, от кого-то узнала, что Тамара в партизанах, грозила выдать всю нашу семью. Тогда не успела: немцы удрали с Украины. Но теперь...

— Вам плохо?

— А какая Тамара партизанка,— словно опомнившись, проговорила Наталья Александровна,— так, одни разговоры.

— Я не могу вам помочь? Поверьте, я готов на все! Она протянула ему обе руки:

— Спасибо, Коля! Я знаю это. Но пока ничего не надо... Я рада, что ты сменишь меня: ты молодой, смелый, у тебя нервы покрепче, погибче, а я... — она глубоко вздохнула. — Я, Коля, всей душой с моими солдатами — и скрывать это не в силах. Ни от кого!

Бибрах дал все-таки домá и Шаповалу и Ризовой; Ризова поселилась в бывшей детской консультации. Она стала массажисткой в больнице, а сына с помощью Бибраха отправила учиться в киевскую школу для полнейских. Жители Бобровицы вскоре заметили, как эта мерзкая троица — кулак Зазимко, петлюровец Шаповал и помещица Ризова — стали собираться вечерами со своими прихлебателями за столом с самогонкой и горланили петлюровский гимн.

Вскоре после приезда Ризовой Наталья Александровна пришла в кабинет Бибраха раньше Николая и, здороваясь, не в силах была сдержать улыбку.

— Так, значит, ты — москвич?

Николай насторожился:

— Да. А что?

— Так... — Наталья Александровна сунула ему в руку сложенную газету: — Беги в туалет. Вот тебе свежая «Правда»!

Закрывшись в щелястом дощанике, Николай ахнул от радости, увидев заголовок, гласящий о провале немецкого наступления на Москву. А от того, что в сообщении упоминалась и его родная Коломна — фашисты, прорываясь к Москве с юга, и ее намеревались захватить, — защипало в глазах. Значит, живы его старики и сестры! Значит, по-прежнему у «стрелки» — при впадении Москвы-реки в Оку — работает большой отцовский завод! И школа на прежнем месте! Значит, жизнь продолжается!

— Откуда это? — только и спросил, возвращая газету учительнице.

— Дала Тамара, — не скрыла она. — Я ей про тебя рассказала. — Зайди к ней в больницу: здоровье надо беречь...

— Обязательно!

События столкнули Николая с хирургом Сколковской очень скоро. В тот же день к Бибраxu ворвался новый начальник полиции:

— Любуйтесь, пан комендант! Вот плоды бездействия Макаренко!

К страницам «Правды» были приклеены листы обоев с крупными надписями: «Немцев гонят от Москвы!», «Долетели до нас с «Правдой», значит, и дойдут!» Кроме того, Шаповал положил на стол Бибраха большую пачку газет.

— В почтовых ящиках обнаружили и под дверями в хатах. Я слышал, как вечером гудел самолет, но и подумать не мог, что советский. А он сбросил газеты. Часть их мы нашли за селом. А другую, выходит, раньше нас подобрали и разнесли по домам. Нашлись «почтальоны»...

— Найти их! Немедленно! — рявкнул Бибрах. — Посмотрим, на что вы способны! — И повернулся к Николаю: — Переведи, что там написано.

— «Долетели, значит, и дойдут!» — Он повторил переведенные Николаем строки. — Чепуха! И вы, господин Шаповал, не смейте поднимать панику!

Отпустив Шаповала, комендант задержал Николая и внезапно спросил:

— Ты уже овладел немецкой машинкой, Николаус?

— Стараюсь!

— Принеси-ка ее сюда! Раз появились такие «почтальоны», напишем письмо об усилении охраны порядка и комендатуры! Отныне, Николаус, ты есть старший переводчик комендатуры!

— Но герр...

— Ты не будешь мне задавать вопросов! Ясно? Запомни: тут спрашиваю и приказываю только я и никто другой!

После работы Николаю удалось поговорить с Натальей Александровной, и она его успокоила:

— Пока все в порядке. Ризова Томку мою еще не видела, а меня не узнала. Я сама попросила перевести меня к Крумзику. Этот отдел выписывает продукты для всех служб, в том числе и для больницы. У Тамары больных гораздо больше, чем значитя. Там она, фельдшер Анна Качер и другие скрывают и лечат наших раненых. Медикаменты достаем для них через Александру Филипповну Вакуленко. А вот продукты кроме как через комендатуру добыть невозможно. Я должна найти способ.

Наталья Александровна даже при строжайшем контроле «картофельных офицеров» найдет способ выписывать продукты раненым, а потом научит этому новую переводчицу Жанну Соколову — ту киевскую школьницу, что после долгих мытарств с направлением от «биржи труда» была привезена Николаем в Бобровицу. Ту самую Жанну, которая ныне, став кандидатом наук, вспоминает:

«Первая встреча с фрау Лерерин у меня до сих пор в глазах... Она не молода, особенно с позиции моих тогдашних восемнадцати лет, очень худа, простая стрижка, волосы с сединой. Мы стоим с ней вдвоем на крылечке, светит солнце, а она смотрит на меня в упор и ничего не говорит. Ее лицо в тени, мое освещено, и я только чувствую, как она вся напряжена — всем телом напряжена! — и смотрит, смотрит на меня неотрывно.

Литвиненко не умела притворяться, ей никогда бы не удалось внушить немцам, что она охотно у них служит. Она очень тосковала по сыну, часто плакала. Ей казалось, что его уже нет в живых. Я думаю, что и жизнью своей она не дорожила, но хотела делать что-то полезное, боясь, что мало успеет. И она понимала, почему из Киева привезли меня, когда переводчицу можно было найти и в районе: фашисты тогда стремились иметь при себе людей, не связанных с местным населением, изолировать нас от него, сделать невозможными любые контакты. А может, она хотела сразу разгадать, можно на меня положиться или нет?»

Жанну не зря назовут подпольщики своим «начпродом». Она пишет:

«Все в отделе Крумзика шло систематически, упорядоченно, учитывался каждый литр обрата и каждый килограмм сена. И все-таки мы ухитрялись вырывать у немцев продукты для раненых бойцов в больнице, а потом и для партизан.

Накладных, отпечатанных типографским способом, в комендатуре не было. Мы готовили бланки на получение продуктов и ставили у комендантов печати. Но у нас был и свой большой специалист по поддельным печатям — Миша Свирид. По «заверенным» Мишей бланкам наши люди получали для больных и раненых хлеб, соль и масло. Иногда, правда, поддельные накладные возвращались в отдел. Кто-то проявлял бди-

тельность, и тогда становилось страшно. Но немцы нас, девчонок, не подозревали. Наверно, не могли предположить, что мы способны на непослушание или на патриотические чувства. Фашисты считали: взяв нас на работу, они нас ошастливили. А мы старались поддерживать у них такое мнение. Против чего же — с их точки зрения — нам тогда было протестовать?!»

Способ «легально», через комендатуру, добывать продукты для раненых подпольщики сообща усовершенствуют — об этом вспоминает Николай Печенкин:

«Первое время наши девушки выдавали накладные и ордера без их регистрации, и немцы, когда надо было составлять отчеты о расходовании продуктов, требовали со складов эти бумажки обратно, что всегда грозило нам разоблачением. Тогда мы сами предложили немцам завести книги для регистрации этих «бешайнигунгов» — разрешений. Все они — и фальшивые! — стали заноситься в эти книги и уже без вторичной проверки, только по книгам, попадать в отчеты. Так мы узаконили незаконное».

А фельдшер Анна Федоровна Качер, и ныне живущая в Бобровице, добавляет:

«Кроме того, и после подписи комендантов Жанна нередко исправляла цифры в нарядах на бóльшие, а я шла с этими нарядами на маслозавод или в пекарню, где наши люди умели добавить еще что-нибудь для раненых и от себя».

Дело, начатое фрау Лерерин, продолжают умные, смелые люди. Но и она, хотя останется в комендатуре только на письменных переводах, еще во многом окажется полезной подпольщикам. Это она порекомендует Николаю устроить переводчицами в комендатуру комсомолок Ульяну Матвиенко и Галю Вакуленко, одноклассниц своего сына, воспитанниц Нелина, и девушки будут достойны своей поручительницы. А саму Наталью Александровну запомнят подпольщики не только за дела и советы, но и за неизменную ее душевность.

Галина Степановна Вакуленко вспомнит потом:

«Когда комендатура временно помещалась на сахарном заводе и ходить домой было далеко, я всегда возвращалась с Натальей Александровной. Вокруг никого не было, мы разувались и шли по траве босиком. На деревянном мосточке, перекинутом через речку, ос-

танавливались, смотрели на воду и мечтали о жизни после войны. Она говорила: «Вернутся Витя и Володя, откопаю спрятанные в сарае пластинки с советскими песнями. Заживем!» И я делилась с ней всем, что было на душе».



— Мария, чем занята? Может, погуляем?

Девушка хлопнула перед носом Николая дверь в свою комнату и загремела засовами. До него донеслось:

— Ничтожество! Попович!

А в другой раз она ему бросила в лицо:

— Что ты меня преследуешь? Считаешь такой же, как ты? Меня силой привезли! А ты...

— Постой, Мария! — Он ненадолго ее удержал. — Вспомни Руставели: «Кто не ищет дружбы с ближним, тот себе заклятый враг...»

— Ты знаешь Руставели? — Мария удивилась.

— Не с луны свалился. Таковую же школу-десятилетку, как ты, окончил.

— Тем хуже! Я ненавижу и тебя, и себя! — Ее голос упал до шепота. — Я ненавижу фашистов! Слышишь? И не приставай ко мне больше! Иди, зови их, попович!..

Однажды, проходя коридором общежития, он увидел двери Марусиной комнаты приоткрытыми, а саму девушку — плачущей. Он вошел. Девушка вскочила из-за стола:

— Чего тебе надо?

— Сядь, успокойся. Я не уйду, пока всего не скажу. Потом иди к Бибраху и доноси на меня.

— Я? Доносить? Как ты смеешь?

— А ты как смеешь? Да, я сын попа — предположим. Но о чем это говорит? Вот ты, думаю, комсомолка...

— Я и сама не скрyla бы, что комсомолка, если б спросили. И не отрекалась бы ни от чего, пусть меня даже расстреляют...

— За это расстреляют! — жестко сказал Николай. — И не бросайся громкими словами. Ты не пред-

ставляешь, как расстреливают людей. Я же видел. Сядь! — почти приказал он.

Он заговорил о том, что надо уметь бороться с фашистами даже в тех условиях, в которых они оказались. Им с Марией дано знать о многих тайнах врагов — читать их бумаги, слушать их разговоры, знать, что они замышляют. А это — серьезное оружие против врага.

Он говорил негромко, Мария не перебивала. Слушала и его, и, как оказалось, весь дом, потому что первой насторожилась, когда немцы встали из-за карт.

— Все, Коля! Иди. Фрицы сейчас по своим комнатам пойдут.

А на другой день она сама подошла к Николаю, — глянула открыто и весело:

— Ты говорил вчера, что надоело сидеть взаперти, что хотел познакомиться с хорошими людьми. Так вот, есть тут у меня подруга, я к ней нынче пойду. Она, правда, дочь попа, но...

— Вот и славно! — весело перебил ее Николай. — И я сын попа! Чем не пара?

Николай порадовался новому знакомству. Ему понравилась и Варвара Ивановна Гораин, и ее дочь Ольга. Девушка, выйдя проводить Николая, сказала:

— Маруся хорошо о тебе говорила. Мне кажется, мы станем друзьями.

И не ошиблась. Они стали друзьями на всю жизнь. Это в ее честь назвал Николай свою дочь Ольгой.

Ольга Гораин, а ныне Ольга Гурьевна Лесенко, мать двоих сыновей, пишет:

«Николай Печенкин сумел стать тогда для меня настоящим другом. Мне нужна была поддержка, я жаждала деятельности... Когда Мария Нагога познакомила нас, я сразу, по интуиции, что ли, почувствовала в Николае и большую затаенную цель, и уверенность, и почувствовала в нем силу и защиту. Я сразу поверила ему, потому что в те тяжелые дни поняла его как самого настоящего советского человека, готового на все во имя Родины. Я полюбила его как брата за светлый ум, за чистоту души, за верность Родине».

Николай зачастил в дом Гораинов. Его внимание с первого вечера привлек одиноко сидевший в полутьме на старом диване большеухий человек с толстой

самокруткой в зубах, с жесткой всклокоченной шевелюрой и насмешливо вздернутыми мохнатыми бровями — тот самый, что расспрашивал Николая о Лобном месте.

— Як там німці? — спросил Нелин, когда Николай подсел к нему.

— Работают...

— А ты, выходит, допомагаешь?

— Что делать?! Жду, когда возьмут Москву: я ж оттуда...

— Ладно, Коля! Хватит подковырок! У меня есть дело к тебе...

Николай искал честных, готовых к борьбе людей, а они изучали его, чтобы приобщить к своему делу.

— Не выпить ли нам по чарочке? — спросил Николай после очередной их поездки с Бибрахом шофер Петр Рябуха. — У меня и самогончик водится. Тут недалеко — шеф отпустит.

Бибрах отпустил. Шофер с самого начала повел себя крайне странно. Пустил Николая впереди по узкой тропке среди широкой заснеженной улицы и вдруг сказал ему в спину:

— Сначала — ко мне, а потом — к моему братану. Он — старший политрук. И конечно, к Бибраху докладываться не ходил.

«Это что же, провокация? Почему ж так открыто?» Николай сделал вид, что этих слов не расслышал, и тревожно стал думать, не повернуть ли обратно: ведь Петр мог пристукнуть его как немецкого холуя.

У калитки дома Николай решил пропустить Рябуху вперед.

— Я после вас.

— Но ты же гость!

— Но вы старше!

Шофер усмехнулся и уступил, а на своей усадьбе, некруто сползавшей к прибрежным тополям и сугробам, еще раз ошеломил Николая, показав рукой:

— Вон там у меня две ямы с оружием. В одной — четыре немецких автомата и винтовки с патронами, в другой — наши винтовки. Все отремонтировано и смазано.

Если бы не вполне дружеский, хотя и усмешливый, взгляд шофера, Николай едва ли дальше пошел за ним. Но, попав вслед за хозяином не в горницу, а словно в сильно задымленную мастерскую, с верстаком и грудой железного хлама; Николай забыл обо всем: из угла комнаты, где, приткнувшись у железной печурки, что-то быстро писал худой белобрысый парень в солдатской шинели, из этого угла донесся знакомый голос Левитана...

— Опоздали малость,— прогудел над ухом Николая Петр.— Уже эпизоды читает.

«Москва» — Николай замер на месте, но тут же спохватился и повернулся к Петру:

— Вам и радио держать разрешают?

— А мы без разрешения! — парень в шинели, кончив записывать сводку, протянул руку Николаю: — Мишка. Булынин.

— Лейтенант, ленинградец,— добавил Петр.— Вместе из окружения выходили... А чего ты, Мишка, так надымил?

— Кордебалет! — взмахнул руками Булынин.— Аккумулятор смолой заливал,— и подмигнул Николаю: — В комендатуре есть французский мотоцикл «Триумф», а мы к нему, чтобы ездить, аккумулятор с ЗИСа прилаживаем. Надо же доверие Бибраха завоевывать!

— Сводка хорошая? — спросил его Петр.

— Кордебалет! — снова засмеялся Михаил.— Наши колошматят их под Москвой!

Петр взял у него исписанные листы и спрятал их под реглан.

— А теперь к моему братану! — скомандовал Николаю.

— Но зачем? Я не понимаю...

— Поймешь!

Не будь натопленной хата, в которую они попали, пройдя несколько огородов, она могла бы показаться покинутой,— такая глухая висела в ней тишина. Но на столе у окна уже стояла в окружении алюминиевых тарелок с картошкой и огурцами бутылка горилки. Петр, еще не раздевшись, плеснул в стакан мутной жидкости, выпил и весело сказал, похрустывая огурцом:

— Мне, как из нашего «собачника» вырвусь, без этого лекарства хоть помирай...

— А что, братуха, не стыдно по бутылкам шарить? — раздался мягкий негромкий голос.

Из-за цветной занавески вышел невысокий, широкоплечий человек.

Он не обнял, а словно приклонил на миг Николая к своему крепкому, как дверной косяк, плечу:

— Рад знакомству, тезка! Я тоже Мыкола — только Сергеевич.

Подтолкнув и Николая к столу, хозяин негромко спросил брата:

— На улице-то есть кто, Петро?

— Мишка Кордебалет!..

— С винтовкой?

— Нет. Пистолет достали и гранаты.

— Так! — старший Рябуха одобрительно кивнул. — Вы и мне бы гранат подкинули, а то вдруг за переводчиком и сам комендант в гости пожалует? Поинтересоваться, почему старший политрук Рябуха не идет к нему регистрироваться? Как я ему без гранат объясню? Я ж немецкого не разумею...

Пошутил он тоном отнюдь не веселым — никто не засмеялся, потом налил всем по граненому стакану самогона и, подняв свой, предложил Николаю:

— Выпьем, тезка?

— Я не пью. — Николай, ответив так, не соврал.

— Похвально! — отметил старший Рябуха. — А мы с братом выпьем. Признаюсь тебе, тезка, несъемный камень у меня на душе. И рана еще болит, но душа... Душа еще больше!

Николай Сергеевич показал Николаю несколько карандашных набросков.

— Вот чем с тоски занимаюсь, хотя и не художник. Жалею, что не было времени учиться... — Он вздохнул. — Но это присказка, а горькая сказка о том, что вынужден старший политрук Рябуха пока от врага прятаться, лечит рану и ждет, когда товарищи позовут его в лес. Только мне свистнут, я к ним. Руки чешутся по оружию.

Он налил еще, но пить не стал. Облокотясь о стол, показал, что уже отговорился и теперь готов слушать гостя.

— А вот расскажи мне, тезка...— попросил, слегка усмехаясь и пристально глядя на Николая.— Я знаю, конечно, что есть такие люди — переводчики. Но ни одного еще не видел. И все прикидывал: уж не о двух ли они головах — одна, скажем, российская, другая немецкая. Но ты, я гляжу, обыкновенный. Где ж ты языку обучился?

Старший Рябуха был ровно вдвое старше своего двадцатилетнего тезки, но разговор повел так, словно все было наоборот: он — парнишка, которому все в новинку, а гость — чуть ли не папаша. Из-за этого под простодушные кивки хозяина Николай даже легенду свою стал рассказывать с таким увлечением, что Николай Сергеевич, легонько тронув его за плечо, восхищенно сказал брату:

— Ось, Петро, учись у моего тезки: ни слова правды о себе не сказал, но ни один гестаповец не подкопается. Артист! А может, спецподготовочка?.. А теперь послушай и ты меня. Во-первых, я хочу похвалить тебя за находчивость и выдержку: брат с первого дня следит за тобой. Во-вторых, прими сердечный привет от нашего общего друга Федора Евсеевича Будника!

...Николай Сергеевич Рябуха подростком встретил революцию, ушел красноармейцем в Перекопскую дивизию, а потом он был советским и партийным работником в разных селах, парттысячником. В армии, будучи политруком, освобождал Западную Украину. Отечественную войну встретил в Прилуках, откуда отправился на защиту Киева.

Из Бобровицы Николай Сергеевич, как и говорил Печенкину, действительно при первых партизанских выстрелах ушел в лес, стал старшим политруком партизанской роты в отряде имени Щорса. Отвоевав, работал в Киеве на заводе. Только в семьдесят лет ушел на пенсию.

Он живет в Киеве, на Большой Житомирской, но найти его можно и в саду, возвращенном им на пустыре в Осокорьках. И как там, в садовом домике, так и в городской его квартире каждому бросятся в глаза многочисленные рисунки и картины на стенах. Николай Сергеевич увлекается живописью с тех дней, когда лечил рану и собирался в лес к партизанам. В письме ко мне однажды заметил: «Может, и не следовало бы мне

браться за кисть, да сама жизнь заставила. Я рисую для себя или дарю свои произведения друзьям».

Однако работы его нравятся многим. Тому подтверждением — грамота, выданная Николаю Сергеевичу Рябухе Шевченковским райисполкомом Киева:

«...За чудесные произведения, представленные на районную выставку, посвященную победе над фашистской Германией». И — записи в книге отзывов об этой выставке.

В общем, есть что посмотреть у Николая Сергеевича. Но есть и что почитать — тоже свое, оригинальное. Как-то купил он большую, амбарного типа, тетрадь и на первой странице написал:

«В этой тетради будут мои воспоминания о людях, которые оставили неизгладимые следы в моей памяти, о ком хочется рассказать словом правды. Но в скромных записках моих я не хочу быть историком. Не будет в них ничего строгого, а только то, что вырвется из души, что меня когда-то в людях и событиях больше всего мучило или радовало...»

Так и начал он писать время от времени — не дневник, не мемуары, а, как шутит сам, «душевную энциклопедию».

Теперь заполнены уже несколько таких тетрадей. Есть в них запись о девушке, подарившей ему, в ту пору бойцу Перекопской дивизии, сбереженный отцом первый номер ленинской «Искры». Конверт с газетой удалось Рябухе сохранить даже в оккупации, а потом передать в музей на вечное хранение. Есть интересная запись о бобровицком жителе, матросе с «Авроры», Петре Булгаке — с ним Рябуха беседовал долгие часы. О старом большевике Пскиньбороде — он когда-то, работая в Бобровицкой милиции, взял в помощники к себе и Рябуху, а в сорок первом, попав в лапы к фашистам, был казнен.

Любит вспоминать Николай Сергеевич хороших людей. Написал он на одной из страниц: «Чем короче остаток нашего пути в жизни, тем длиннее тени нашего прошлого». Но все же эту его «энциклопедию» с полным правом можно назвать и партизанской. Он и сам признается:

Огонь коптилки вижу я,
Землянку, дальние курганы,

О вас тоскую я, друзья,
О вас тоскую, партизаны.

И чуть ли не первая запись в этой тетради о друге — Федоре Буднике, о том глуховатом сельском «сапожнике» из Щастновки, привет от которого так нужен был Николаю Печенкину в ту пору, когда пришлось ему превратиться в Ремова. Н. С. Рябуха пишет:

«Не могу вспомнить без печали и грусти, что нет уже на свете Федора Евсеевича Будника — человека с чистой совестью. Еще в те далекие годы, когда страна после гражданской войны только выходила из разрухи, он, бывший батрак, был уже коммунистом, руководил сельской кооперацией в Заворичах. Я познакомился с ним в этом селе в 1928 году и не скрывал, что завидую его чудесной памяти, смелости и способностям: он кроме всего был и корреспондентом батрацкой газеты. В своих статьях разоблачал кулаков, ярко описывал бедняцкую долю. Когда Будник возглавлял сельскую партийную ячейку, мы вместе боролись за коллективизацию. Но пришло время, наши дороги с Федором Евсеевичем разошлись и, казалось, на всю жизнь. Я часто вспоминал друга юности, с братским чувством хранил нашу совместную фотокарточку. А встретиться вновь нам пришлось при очень грустных обстоятельствах.

Когда после жестоких боев мы оставили Киев, я, тяжело раненный и контуженный, был подобран немцами. С другими ранеными я оказался сначала в церкви села Рагозово, а потом нас переправили в аэропорт Борисполь. До гибели был один шаг: за выдачу политработников фашисты предателей награждали. Я оттуда сбежал; меня, раненого, подобрал и приютил крестьянин с хутора Займище, что у села Гоголев. Потом, пробираясь в Бобровицу, где жили мои родители, я вспомнил и о двоюродной сестре из села Щастновки. Добрался до нее еле-еле. Болела рана, душили мрачные переживания. Но вспомнилось, что и друг моей юности Федор Будник родом из Щастновки. Я спросил о нем сестру и был несказанно обрадован, узнав, что Федор живет тут, совсем неподалеку. Но встреча наша была печальной. Перед лицом фашистов и пре-

дателей-полицаев мы чувствовали себя обреченными. За такими, как мы, они охотились. Но как ни горька была наша встреча, мы подробно обсудили, что можем делать для борьбы с врагом. И Федор Евсеевич тогда сказал: «Ничего! Мы умрем, а Родина выстоит!»

Так написал Рябуха о Федоре Буднике после войны, так рассказывал о нем и в сорок первом — переводчику Бибраха.

Когда я расспрашивал Николая Сергеевича о первой встрече с Печенкиным, Рябуха сказал:

— Детали забылись. Но живые, умные глаза маленького худенького паренька помню до сих пор. Он так и не признался мне тогда, что знает Будника... Наверно, боялся подвести старого партийца. Я ведь ему представился без всяких паролей или записок. Меня настолько восхитили выдержка и осторожность в двадцатилетнем парне, что я сразу сказал брату: «Это очень надежный человек».

А Николай Печенкин помнит встречу так, будто была она вчера.

— Теперь о тебе знают шестеро, — сказал ему тогда Николай Сергеевич. — Мы с братом. Будник, Потапенко с племянницами. Это уже перебор. Мы не только будем о тебе молчать, но и всячески оберегать тебя. А ты зря не рискуй. Сюда больше не приходи. Если я потребуюсь, обращай к Петру...

Николай сразу и окончательно поверил Николаю Рябухе. Повлиял не только привет от Будника. Печенкин и без того узнал в Николае Сергеевиче настоящего, умелого политрука — по взгляду его, заинтересованному и дружескому, по тому, как он неспешно, с предельным уважением к собеседнику повел разговор, как твердо сказал, что не пойдет на регистрацию к немцам.

Было и еще основание для доверия. Прочитав вслух сводку, принесенную братом, политрук вернул ее, сказав: «Вывешивай!» А сам взял кусок обоев и на обороте, макая кисть в бутылку с чернилами, написал здоровенными буквами: «Немцы брешут, что выравнивают фронт! Они драпают от Москвы!!!» Николай сразу узнал эти обои: к таким же были приклеены страницы «Правды», сорванные Шаповалом.

Николай Рябуха объяснил:

— Сводку не каждый прочтет: полицейского побоятся. А такое само лезет в глаза. Верно?

На прощание дал Николай Рябуха переводчику добрый совет:

— Не пора ли тебе твоего шефа в Щастновку к Евгении Сергеевне свозить? Угощение, слышал, уже наготове. Сразу акции твои у коменданта подскочат!..

Так и сделали. Будучи с Бибрахом неподалеку от Щастновки, Николай с Петром уговорили шефа пообедать у Потапенко. Хозяйку не застали врасплох. Было вдоволь угощения, горилки и даже песен: Потапенко при Бибрахе подарила Николаю баян. Но была и короткая встреча Николая с Будником — будто случайная, когда переводчик на несколько минут вышел на улицу.

— С Николаем Рябухой встретился? — перво-наперво осведомился «сапожник», а потом уточнил для себя: — Значит, эта машина, что у двора, комендантская?

— Да, «оппель-кадет».

— Будем знать. А то ребята наши могут позариться. Пусть, пока ты с ним, Бибрах покатается.

Так и было впоследствии, когда все дороги в районе взяли под контроль партизаны. Они уничтожили уйму немецких машин вместе с их хозяевами, и этот серенький «оппель-кадет» не раз держали на мушке, но пропускали нетронутым, потому что сидели в нем рядом с фашистом их товарищи — Петр и Николай.

Бибрах с того раза в Щастновку повадился. Чуть что — подморгнет Петру или Николаю:

— Пошошок?..

Он, совершенно безразличный к чужому языку, это слово «посошок» запомнил с первого раза, потому что «последний, в дорогу», стаканчик у гостеприимной Потапенко никогда не был на самом деле последним. И с того же дня Бибрах, услышав игру переводчика, представлял его брать баян в поездки.

В общем, после гостевания у Потапенко авторитет Николая в глазах Бибраха вырос. Комендант стал безоговорочно отпускать Ремова к Евгении Сергеевне по выходным и не удивлялся, когда ее племянница Надя Будник навещала Ремова в Бобровице. После той поездки у Николая не стало тайн и от братьев Рябух.

Лютовала зима сорок первого, вымораживала из хат все тепло, заметала их под крышу сугробами. Но страшна была она бобровичанам не метелями и морозами. Рады были бы, если на погибель фашистам зима была бы еще лютее. По людям зима ударила голодом: даже семенное зерно отбирали для вермахта полицаи. Хорошо, если горсточку пшеницы удавалось достать и смолоть на ручной мельнице. Чаще же ели свеклу, картофельные лепешки. На рынке коробка спичек — десять марок. Но где их взять? Полицаи ежедневно гоняли жителей на разные работы — от темна до темна. А платы никакой, в лучшем случае выдавали талоны на патоку или обрат. Да и за ними надо было полдня отстоять в комендатуре. Страшнее же всего, что после приезда Шаповала в Бобровице и по всей округе начались аресты. Шаповал ходил по домам, хватал всех, кого подозревал в сочувствии коммунистам, и уже многих отправил в Нежин, откуда никто из арестованных не возвратился.

На помощь полиции прибыла и крепко осела в «собачнике» фашистская жандармерия — значит, жди новых арестов.

Ремов жил уже не в «немецком» доме. Его переселили в крохотную комнатку на бывшей почте. Пройти к нему можно было только через другую комнату, где обитали четыре здоровенных жандарма.

К жандармам Бибрах выселил Николая за то, что он тайком слушал в немецкой столовой Москву. Слушал не раз в отсутствие коменданта, пока не был застигнут Олишевой. Кухарка подняла шум. Николай не отрицал, что включал приемник и искал хорошую музыку, а что до Москвы — то Ольге, мол, померещилось. Других свидетелей не было. Но Бибрах все-таки принял меры.

Теперь Николай жил под круглосуточным присмотром. Кроме редких минут, когда он с разрешения Бибраха навещал Ольгу Гораин, Галю Вакуленко или девушек-переводчиц, — их тоже поселили в доме комендатуры.

В общем-то Бибрах расположения к переводчику не изменил. И с удовольствием рассказывал, с каким достоинством повел себя Малыш, когда Бибрах приказал почистить его сапоги, что делала обычно Олише-

ва. Малыш побледнел, но не побоялся в столовой при «картофельных офицерах» заявить:

— Господин комендант! Вы можете заставить меня чистить свои сапоги, но тогда уже не заставите быть вашим переводчиком.

— Ого, Кляйнер! — изумился Бибрах. — Ты уверен, что не заставлю?

— Да! Это подорвало бы в глазах людей мой авторитет как вашего переводчика, а значит, и ваш собственный. Я слишком серьезно отношусь к своей работе!

Это было правдой — в добросовестности Ремову никто не мог отказать. Николай раньше всех появлялся в комендатуре и дольше других там задерживался — за немецкими словарями и книгами. Он делал в языке поразительные успехи. Превзошел даже фрау Лерерин в быстроте перевода. С ним Бибрах свободно чувствовал себя в поездках. Переводчик и скромн, и умен. А главное, честен, неподкупен, наблюдателен. Именно так характеризовал его Бибрах, когда на большом совещании в комендатуре благодарил за то, что помог разоблачить и выгнать из полиции «этого жулика Шаповала».

Разумеется, Бибрах не подозревал, что к этому делу прямо причастны и многие другие подпольщики.

В один из дней к Бибраху явился ликующий Шаповал и положил на стол донос:

— Пан комендант, я нашел, кто распространяет большевистские газеты. Люди, подписавшие эту бумагу, были на приеме у врача Сколковской, после чего обнаружили в своих карманах газеты. Ее надо немедленно арестовать!

— О чем он? — раздраженно спросил Бибрах переводчика: он по-прежнему не жаловал Шаповала.

Николай мгновенно уловил настроение коменданта и, пользуясь тем, что петлюровец не знал немецкого, «перевел»:

— Начальнику полиции кажется, что вы напрасно запретили ему без вашего разрешения арестовывать тех, кто состоит на немецкой службе.

Бибрах кивнул на бумагу:

— Уж не на меня ли этот донос?

— Пока еще нет, — Николай усмехнулся. — Но господин Шаповал утверждает, что советские газеты рас-

пространяет врач Сколковская. Он требует ее немедленно арестовать, хотя, вы понимаете, арест врача — это... Да и, насколько мне известно, она очень больная женщина.

— Прочти: какие доказательства?

— Двое жителей побывали в больнице и после этого нашли в карманах пальто газеты.

— Пусть он завтра доставит ко мне этих людей, доктора и придет сам. Я разберусь!

Николай, улучив момент, рассказал обо всем Наталье Александровне.

— Я говорила Томке, что нельзя так отчаянно. А она на радостях, что фашистов от Москвы турнули, уже чуть ли не в открытую стала раздавать «Правду». Все, что передал ей Нелин...

— Вы не беспокойтесь, Наталья Александровна. Что-нибудь придумаем! — Он поспешил к Горайнам, рассказал о доносе Нелину. Учитель тоже забеспокоился:

— Я думал все кончилось с газетами. Оно же вон как оборачивается! — Однако предложение Николая, чтобы сестры покинули Бобровицу, не поддержал. — Куда им бежать, если на руках у них дети и больная старуха? Нет, надо что-то другое...

И весь длинный вечер Нелин неторопливо, по словечку вытягивал из Николая:

— Кто, говоришь, эти доносчики? А как, повтори, в доносе написано? Во сколько, значит, комендант их вызывает?..

На прощание учитель сказал Николаю:

— Пусть все идет вроде бы по-ихнему. Попробуй внушить Бибраху, что хорошо бы на допрос позвать фельдшерицу Качер и заведующую больницей Хован: мол, дело особой важности, и надо его тщательно расследовать...

Николай до самого следствия терзался душой, хотя Бибрах согласился вызвать Качер и Хован.

Бибрах начал прямо с того, что спросил свидетелей:

— Значит, вы пришли от доктора Сколковской и обнаружили в карманах газеты?

— Нет... — Свидетели переглянулись. — Мы после больницы ходили на базар.

Николай перевел:

— Они говорят, что долго ходили по базару, что там было много народу, газеты могли им подсунуть в толпе.

— Выходит, они не утверждают, что газеты получили в больнице? — спросил Бибрах.

— Нет-нет! — в один голос воскликнули свидетели.

— Но вчера вы это говорили, — Шаповал вскочил. — Ведь эту бумагу вы подписали?

— Мы...

— Но там же сказано, что, побывав у врача Сколковской, вы обнаружили в карманах газеты!..

— Обнаружили. Но мы были и на базаре...

— Почему же вчера об этом не сказали? Почему? Отвечайте!

— Вы не спрашивали.

Разговор закрутился на одном месте.

Обрадованный Николай даже перестал переводить: Бибрах, видимо все понимая по лицам, перевода не требовал.

— Господин комендант! — первым не выдержал Шаповал. — Клянусь, вчера они говорили иначе! Но дело не в одних газетах! Сколковская вообще очень опасный человек! Есть сведения, что она в гражданскую войну была партизанкой.

— О чем он? — воззрился на Николая Бибрах.

Николай замешкался. На помощь Ремову пришла фельдшер Анна Качер.

— Переводите, пожалуйста, господину коменданту! Я вместе с Тamarой училась в гимназии! Муж ее был тоже врач, он пострадал от Советской власти...

Оставив в стороне слова начальника полиции, Николай перевел это свидетельство Качер.

Затем поднялась Тамара Александровна Сколковская:

— Я думаю, немецкая власть гуманна, — держась очень спокойно, проговорила она. — Вы же не закрыли и, надеюсь, не закроете больницу? Вы хотите, чтобы люди были здоровыми и могли трудиться для победы? Я единственный здесь хирург. Я и сегодня должна оперировать. А у меня, смотрите, — вот... — Она вытянула руки с дрожащими кончиками пальцев. — Я не могла уснуть. Господин Шаповал грозил мне расстрелом.

Будь виновата, я бы сбежала. Но я тут, потому что верю в справедливость немецкой власти!

— Довольно! — Бибрах, перебив ее, встал.— Я не хочу больше терять времени. Но пусть этот разговор послужит всем предупреждением. Да, немецкая власть гуманна, а потому она будет безжалостной к своим врагам. Может, господин Шаповал на этот раз потропился. Но газеты все-таки кто-то распространяет?! И кто-то за это обязательно ответит!

Комендант раскричался, на этом все и закончилось.

Лишь вечером Николай узнал, что Нелин и его помощник Василий Моисеенко подбросили двум доносчикам письма с угрозой: если не скажут, что после больницы были и на базаре, то хаты их будут сожжены, а сами пусть прощаются с жизнью.

Сколковская была спасена, но борьба с Шаповалом только началась. Проходя от Бибраха мимо Ремова, начальник полиции процедил сквозь зубы:

— Вы чему-то радуетесь, пан перекладач? Как бы плакать не пришлось!

Через неделю он принес новый донос на Сколковскую — в целую тетрадь. Хорошо, что к этому времени подпольщики придумали, как окончательно подорвать у Бибраха доверие к Шаповалу. Невольно помог им в этом старый Макаренко, оттесненный Шаповалом с поста начальника полиции.

— Корчит из себя Шаповал праведника,— сказал он как-то Николаю,— а сам ящик мыла, конфискованный у спекулянта, присвоил...

Первым оценил эту новость Петр Рябуха:

— Его надо накрыть с этим мылом. Тогда — погорел Шаповал!

На долю Николая выпало уговорить Бибраха пойти на базар, как только Петр, с неделю следивший за домом Шаповала, принес наконец известие:

— Пошла Шаповалиха продавать мыло!

«Подогреть» коменданта особого искусства не требовалось. Он, главный в округе грабитель, любил публично и в застольных беседах прославлять немецкую честность. На всех сборищах в комендатуре грозно предупреждал, что не потерпит даже тени обмана. Когда задержали спекулянта мылом, Бибрах отправил его в нежинскую тюрьму со всей семьей, а Шаповалу пору-

чил обыск и конфискацию имущества. Но, найдя ящик мыла, начальник полиции сдал на склад лишь несколько кусков, а остальное присвоил.

— Не может быть! — сразу загорячился Бибрах и отправился за переводчиком на базар, где их «случайно» встретил Петр Рябуха и подвел прямо к жене главного полицая.

Бибрах немедленно позвонил в Нежин — в полевую жандармерию:

— Начальником полиции вы рекомендовали мне вора! Требую убрать!

Шаповала сняли. Николай, который тянул с переводом его нового доноса на Сколковскую, спросил у Бибраха:

— Стоит ли переводить?! Много другой работы!

— Не надо: он — жулик! — проворчал Бибрах. Но донос не уничтожил — запер в сейф.

Но и лишенный власти, Шаповал оставался опасным. Как тайный агент жандармерии, ведь Николай видел у Бибраха его бумаги! Как собутыльник и друг районного старосты Зазимко. С ним, да еще с Ризовой Шаповал пьянствовал целыми вечерами. Самогон для себя они заставили варить старого рабочего Василия Самойленко, по кличке Усы. Но Василий дружил с Рябухой и, посидев по совету Петра с предателями за бутылкой, доложил:

— Целый переворот готовят! Шаповалу — снова полицию. Ризову — к Бибрашу старшей переводчицей. Все власти украинские хотят поменять и устроить чистку района от подозрительных лиц. Списки уже составляют.

Надо было им помешать! Но как? Над этим думали все подпольщики. Через несколько дней Петр прямо в комендатуре передал Николаю стопку исписанных листов:

— Достал только на час. Отдай нашим девушкам, пусть быстренько перепишут — разошлем по селам! Шаповал с Ризовой да Зазимко две тысячи человек на высылку из района наметили, всех «чужинцев», тех, кто не коренной житель.

Увидев снятую Жанной и Галиной Вакуленко копию списков, даже невозмутимый Нелин ахнул:

— Две тысячи! Учителя, агрономы, бухгалтеры...

Смотри, и нас с тобой не забыли! Людей во всех селах, конечно, предупредим — это одно. Пусть знают, что на подозрении. Но надо, чтобы и высылки не было!.. Что можно сделать?..

Осуществлять выношенный сообща план снова выпало Николаю. В своей комнате, за спиной жандармов, он провел немало бессонных часов, прежде чем решился заявить Бибраху:

— Господин комендант! Я вижу, как вы нервничаете из-за посевной. Мотаетесь из села в село, добываете семена, заранее думаете, как бы не сорвать пахоту из-за болезни лошадей, как собрать нужную рабочую силу. Но есть люди, которые хотят сорвать сев...

— Кто же это?

— Боюсь, вы мне не поверите, а они жестоко мне отомстят... Это Зазимко — районный староста. Я слышал, он вместе с Шаповалом и Ризовой составил списки на высылку из района двух тысяч специалистов, в том числе очень ценных людей для сельского хозяйства. Из некоторых сел их уже высылают!

— Не верю! Я Зазимке такого указания не давал!

— Проверьте! Зазимко с Шаповалом и меня грозят выслать — я тоже нездешний. Они уже высылают из Свидовца одного опытного зоотехника. Он тут, пришел с жалобой. Поговорите с ним...

— Зови!

И перед Бибрахом предстал среднего роста, черноволосый человек лет тридцати, интеллигентный, приветливый. Николай уже знал, что Василий Манзюк, еще недавно старший лейтенант Красной Армии, был начальником лечебной части крупного ветлазарета. Он вместе со своей частью попал в окружение, был тяжело ранен. Его подобрала и выходила девушка из села Свидовец. Она стала его женой. Вместе с ней Василий готовился в партизаны, а пока зиму работал зоотехником. Когда староста села, грозя тюрьмой, предложил Манзюку в три дня убраться из района, Василий по совету жены отправился к Буднику, чтобы узнать, как найти тех, кто укрывается в лесах, а «сапожник» направил его прямо к Николаю.

Николай обрадовался случаю. Мало того, что Манзюк был свидетелем самоуправства Зазимко, был он еще знающим ветеринаром. А Бибраха в ту пору все

больше занимала мысль о том, как вылечить коней к севу.

Разнопородные, больные, отощавшие и покалеченные клячи, собранные отовсюду, были, естественно, никудышной тягловой силой.

Василий мог поставить лошадей на ноги. Стоило Николаю сказать об этом Бибраху, как комендант воскликнул:

— Если все так, как вы говорите, то я назначу Манюка заведующим районной ветлечебницей!

Бибрах немедленно вызвал всех сельских старост. Боясь, что старосты не скажут правды в присутствии Зазимко, Николай подсказал Бибраху вести разговор в его отсутствие. Районный староста сидел в соседней комнате, пока Бибрах допрашивал вызванных. Но терпения у коменданта хватило только на четверых: все они подтвердили, что по заданию Зазимко не только составляли списки «чужинцев», но уже их снимают с работы, чтобы или выселить или арестовать. Взбешенный самоуправством, Бибрах вызвал Зазимко и при всех приказал:

— Пистолет — на стол! Ты — больше не районный староста!

Шофера Рябуху Бибрах послал немедленно забрать с квартиры Зазимко радиоприемник, недавно подаренный старосте за усердие. Ремова Бибрах уполномочил расследовать все самочинства Зазимко и проследить, чтобы убрали со всех должностей его родных и друзей. Эти указания шефа Николай выполнил усердно.

Вскоре Бибрах получил долгожданное повышение — стал «гебитсландвиртшафтсфюрером». Его власть распространилась на три района — Бобровицкий, Лосиновский и Новобасанский. В свои заместители взял он приятеля из Новой Басани Карла Штарка — того самого, кто прислал к нему Ремова. А Николай был утвержден при Бибрахе старшим переводчиком, получил право выезжать в Киев и даже иметь для письменных переводов помощницу. Ремов воспользовался сразу этим правом: взял в комендатуру комсомолку Таню Муравьеву.

Направляемые старыми партийцами Порфирием Кихтенко и Федором Будником, подпольщики Бобровицы уже в первые месяцы оккупации старались нано-

сильно врагу ощутимый вред. Они распространяли советские газеты и сводки Информбюро, прятали и выносили свыше тридцати раненых советских воинов, собрали много оружия, сорвали операцию против «чужинцев», предупредив по всем селам тех, кто оказался у врага на примете, не допустили к власти злейших предателей, помогли саботировать многие-многие замыслы оккупантов.

Однажды, по весне, когда подсохли дороги, из Щастновки прямо в комендатуру пришла Надя Будник.

— Федор Евсеевич велел тебе завтра в два часа дня быть у него дома.

— В два? Что случилось?

— Не знаю, только Федор Евсеевич просил не опаздывать.

Николай на бибраховском мотоцикле «Триумф» приехал в Щастновку за час до встречи. Посидев у Евгении Сергеевны, огородами прошел в хату Будника. «Сапожник» был дома, но тут же исчез, предупредив Николая:

— С тобой сейчас поговорят... А я вас покараулю...

За Будником еще не закрылась дверь, а из-за печи показался невысокий человек в немецкой форме с пышной огненно-рыжей шевелюрой. Он пристально оглядел Николая и протянул ему руку:

— Лейтенант Красной Армии Иван Головко!

— Младший лейтенант Печенкин, — поколебавшись, отозвался Николай.

Они помолчали, будто все еще вслушивались в столь дорогие для них слова.

— Мы уходим в леса и начинаем боевые действия против фашистов, — начал Головко.

— Кто — мы? Можно подробнее?

— Партизаны — из местных, из окруженцев. Пока желающих больше, чем оружия и боеприпасов. Но все нужное будем теперь добывать в боях. Нам нужно знать о каждом шаге гитлеровцев — ты понимаешь? Тут мы рассчитываем на тебя. Связные будут наши, а ты дай в Бобровице пару явок и сообщи о них через Будника. Согласен?

— Конечно! — ответил Николай.

Иначе он сказать не мог, ведь это было именно то, к чему он стремился! Это была борьба!

Кроме комендатуры у подпольщиков свои люди были везде. Марусю Нагогу рекомендовали переводчицей на железнодорожную станцию. В жандармерию по рекомендации Нелина и Петра Рябухи Николаю удалось устроить через Бибраха молодую учительницу из Озерян Надежду Голуб. Эта невысокая румяная девушка с пышными косами сразу оказалась у всех на особом счету. Жандармы поселили новую переводчицу в отдельную комнату, за окна с решетками и обитую железом дверь — раньше тут была сберкасса, допустили к своему столу. А подпольщики узнавали от Нади о каждом их шаге. Это от нее получил Петр Рябуха списки «чужинцев». Жанна Соколова без труда освоила машинопись, и русскую и немецкую, изловчилась тайком печатать в комендатуре листовки и сводки Информбюро. Через Галю Вакуленко была взята под контроль аптека — ею заведовала Галина мама. Друга Нелина, Василия Моисеенко, удалось устроить заведующим паспортным столом: через него подпольщики доставали нужные документы.

В Кобыжче подпольщики действовали через учительницу Надежду Роговец. В Ярославке — через врача Алексея Чузова и зоотехника Леонида Товстенко. В Щастновке — с помощью Федора Будника, Евгении Потапенко и ее племянницы Надежды Будник. А Мария Нагога связала Николая и с Андреем Вовком, своим родственником, который создал боевую группу в селе Марковцы. Со всеми этими и многими другими людьми Николай был постоянно связан по подпольным делам, он хорошо знал, на что они способны. Поэтому имел право твердо ответить посланцу партизан Ивану Головко:

— Начинайте! Мы сделаем все!

СМЕШЛИВАЯ ДЕВЧОНКА

«Киев, 1941 год. Я только окончила восьмой класс. Неразбериха и суматоха первых дней войны, а 19 сентября в Киеве уже фашисты. Отец мой еще в июне ушел в армию. В доме остались мать, я и одиннадцатилетний брат. Первые же дни оккупации ударили нас страшным голодом. Вот и начались муки наших путешествий в села, отдаленные от Киева и за сто, и за сто пятьдесят километров, — мы меняли вещи на картошку. Даже приближение к немецкому транспорту — а не немецкого не существовало! — взбранялось строжайшим образом. Шли пешком.

Мы уходили вдвоем с матерью. В доме оставался только мой брат — Игорь. Но сколько мы могли принести на своих плечах? По десять — пятнадцать килограммов каждая — не больше. А сколько надо было времени, чтобы все это съесть? Три-четыре недели — и снова поход.

Запасы наших носильных вещей очень скоро иссякли.

Так как мне уже исполнилось шестнадцать,



то возникла и угроза быть угнанной в Германию. Спасения как будто не было.

Но вот случайно я прочла объявление, что какому-то табачному управлению, находившемуся на улице Десятинной, требуются люди, знающие немецкий. Я направилась туда, несложный экзамен выдержала. Меня представили старому-престарому немцу по имени Роберт и объяснили, что он ведаёт плантациями табака в местечке Бобровица Черниговской области и что мне надлежит помогать ему объясняться с местным населением.

Мои муки начались сразу же, как только мы сели в поезд. Старого Роберта я понимала плохо. Когда он извергал каскады малопонятных слов, замирала от ужаса: сейчас он или ударит меня или вышвырнет на первой же станции. Но не случилось ни того, ни другого. Роберт все-таки довез меня до Бобровицы...»

Так рассказывает Лени́на Евдокимовна Мартиашвили, ныне преподавательница немецкого языка в Тбилиси, а в ту, военную пору — недавняя школьница Люся Кузьмичева.

На станции Бобровица в тот осенний вечер сорок второго года к Роберту пристроился знакомый. В их разговоре Люся уже кое-что поняла:

— Что за девчонка? Откуда? — спросил попутчик.

— Моя переводчица. Из Киева.

— Школьница? Таких везде полно.

— Местным легче связаться с партизанами. А эта никого не знает и сама для всех чужая. На нее больше можно рассчитывать.

— Тут только на автомат можно рассчитывать,— проворчал попутчик.

В Бобровице она предстала перед толстым бритоголовым фашистом, сидевшим с сигарой под портретом Гитлера и что-то непонятное ей говорившим. Хорошо, что рядом оказался невысокий ясноглазый парень в советской форме и, по-свойски взяв ее за руку, сказал на чистом русском языке:

— Пойдем! Я познакомлю тебя с переводчицей Соколовой. Ты будешь с ней жить...

В другом кабинете сероглазая и будто зябнувшая девушка с шалью на плечах — девушку парень назвал Иоганной,— усадив Люсю так, что заслонила ее собой

от своего шефа, рослого офицера, любезно, но сухо-вато сказала:

— Через десять минут конец работы, и я вас провожу. А пока сидите. У нас выдача талонов на обрат.

И она повернулась к стоявшей у дверей крестьянке:

— Итак, пан комендант интересуется: не в партизанах ли ваш муж?

— Нет... Что вы! Как ушел в армию, так словно сгинул.

— Она говорит, что ее муж был на фронте, но едва ли уцелел, потому что немецкая армия очень сильна,— к удивлению Люси перевела Иоганна.

— Отдайте ей талон на половину литра. И скажите, чтоб подальше от партизан, а то пропадет вместе с детьми. Наши войска у Волги, и скоро падет Сталинград.

Иоганна, что-то отметив в большой конторской книге, позвала к себе женщину:

— Распишитесь. Он говорит вам, что гитлеровцы хотят взять Сталинград, а потому не советует искать партизан.

— Зачем мне искать их? — удивилась женщина.— Я не знаю, как детей прокормить. Даже за этой кислой водой надо полдня простоять, да еще за нее расписываться...

— И еще обязательно сказать спасибо! — напомнила Иоганна.— А то в другую неделю не дадут.

Женщина, взяв талон, слегка наклонила голову:

— Спасибо...

Офицер что-то милостиво буркнул. Но на другую просительницу, тихо проскользнувшую в кабинет, визгливо закричал:

— Убрать ее! И на две недели лишить талонов! Она не знает порядка, вошла без разрешения!

Женщина будто и без перевода поняла коменданта: со слезами протянула к Иоганне руки:

— Милая! Скажи ты ему: у меня дети хворают. У старшего — ревматизм, все ножки перекрутило, а младший кашляет, как чахоточный...

— Я не буду ему этого переводить! — с неожиданной строгостью сказала Иоганна.— Лучше уходите! Понимаете, нельзя ему этого переводить!

— Не могу я уйти! Не могу!

— Я не буду этого переводить! Лучше уйдите!

Люся взглянула на Иоганну с осуждением, потому что комендант, встав из-за стола, вдруг обратился не к своей переводчице, а к ней:

— В чём дело? Почему эта женщина не уходит? Что она говорит? Ну-ка, переведите вы!

— Она говорит, она говорит...— Люся медленно подбирала слова.— Ее дети больны. У них возможно это...— Вместо слов Люся покашляла и добавила: — Кох!.. Понимаете? Кох...

— Туберкулез?! — Комендант почему-то возмутился и сразу отошел на свое место.— Переведите ей, Иоганна, слово в слово! Во-первых, здесь не больница. Во-вторых, у нас есть указание на больных детей не тратить продовольственных ресурсов рейха. Все, в чем нет силы и здоровья, должно умереть! Это есть новый порядок! И я не могу его нарушать. Если я отдам продукты больному, не хватит здоровому!..

— Удивляешься? Это далеко не все, чему тебе еще придется удивляться,— сказала тогда новенькой Иоганна, приведя ее в небольшую комнатку с железной печкой и тремя койками. И добавила, улыбнувшись:

— Да не зови ты меня Иоганной! Это немцы меня так называют. А я — Жанна, Жанна Соколова. И даже не Жанна, а просто — Женя. Мой отец так любил маму, что и меня ее именем назвал. Но две Женя в доме — неудобство, и я стала Жанной... А ты немецкий, как я поняла, в школе изучала? «Вир бауэн моторэн, вир бауэн тракторэн?»

— Да...

Уже потом Люся узнала, что тот первый ее день в Бобровице был очень тревожным для подпольщиков. Один из «картофельных офицеров», Михель Зайлер, отвечавший за поставки молока, уехал в район на бричке вместе с переводчицей Ульяной Матвиенко, а вернулся один. Уля и раньше до бешенства доводила полуграмотного Михеля своими насмешками. А в этот раз он высадил «Фрейлейн Блондэ», как прозвали немцы Ульяну за светлые волосы, где-то в поле, приказав пешком идти в комендатуру. Бибраху, возвратясь, заявил, что если даже Ульяна и придет, то он работать с ней наотрез отказывается. Но он, Михель, не уди-

вится, если услышит о ней, как о партизанке: вела она себя крайне вызывающе. Ремов, слышавший разговор, поручился за Ульяну перед Бибрахом, намекнул, что, видимо, Михель сам вел себя с девушкой не совсем тактично, а она, Матвиенко, настолько дисциплинирована, что и пешком в комендатуру вернется. Николай пришел вечером к Жанне, и они, забыв о новенькой, с тревогой ждали, как поступит Ульяна.

Уля вернулась уже совсем к ночи,— в овчинной шапке с длинными ушами, с тяжелым заплечным мешком, который сбросила у порога.

— Все воркуете? — спросила глуховатым баском, взглянув на Жанну и Николая, сидящих у печки.— А эту новенькую, видно, на мое место подыскали? Решили, если Михель меня посреди степи высадил, то вы от меня и отделались? А я пришла, и даже дома, в Макаровке, побывала. И вот пять верст этот мешок на себе тащила. По грязище-то... В него мама моя тебе, Жанна, картошки насыпала. Просила извинить, что больше не может... А тебя отпускают в Киев?

— Улечка! — Жанна кинулась к ней.— Теперь поеду, раз ты вернулась. А то мы уж думали, что придется нам...

Николай кашлянул, и Жанна умолкла, чтобы вполголоса продолжить разговор у печурки. Люся знала от Жанны, что Николай завтра едет в Киев менять на Подоле овес на что-то нужное немцам и что ему удалось уговорить коменданта отпустить с ним Жанну к матери и младшей сестренке. Друзья и собрали им еды. Очень трогательно, но чего ж об этом секретничать? За окном лил дождь и скрипела от ветра ставня. И Люся вдруг так затосковала, что неожиданно даже для себя спросила:

— А правда, что тут партизаны есть?

Девушки от ее вопроса замерли, а Николай поинтересовался:

— А кто тебе сказал?

— Слышала, как немцы говорили.

— Что именно?

— Просто так, упоминали...

Он посмотрел на нее пристально, а потом усмехнулся:

— Ложись и спи спокойно! Видела? Тут забор

трехметровый, траншеи и посты кругом. Мы — в полнейшей безопасности... — И вдруг спросил: — Жила в коммунальной квартире?

— Нет, в отдельной.

— Мама-то очень беспокоится?

— Очень!

— Пиши адрес! — Он протянул Люсе свой блокнот.

— Но зачем?!

— Чудачка! Я же завтра в Киеве буду. Могу привет передать, навестить.

— Ой, ведь правда! Пожалуйста!

На другой вечер, вернувшись из Киева, Николай тихо шепнул:

— Привет, Ленина! Ты что же, хотела от нас скрыть, что в честь Владимира Ильича названа? Что отец коммунист ленинского призыва, а сейчас на фронте? Мама у тебя отличная.

Николай предупредил Люсю, что дружить надо с Жанной, Ульяной, а от Наташки Белаш быть подалее.

Непроглядная ночь спускается сразу. Будто их комнату накрывают черным футляром. И ничего не поделать с этой темнотой, самое лучшее лечь спать.

С помощью новых друзей Люся быстро освоила свое дело и стала помогать подпольщикам. Уже дня через два после приезда Люси Жанна шепнула ей в комендатуре:

— Сейчас все уйдут обедать, а мы закроемся в комнате Крумзика. В случае, если постучат в дверь, кричи: «Ой, нельзя! Переодеваемся!» Мне листовки надо перепечатать...

В обеденное время комендатура пустела. Только полицейский ходил в коридоре за дверью. Жанна печатала, вся застыв от напряжения, не глядя на свои быстро бегающие пальцы.

— Ну, еще одну, — шептала она, но, и закончив вторую закладку, не встала, а начала новую: — Ну, еще...

В тот вечер они вышли вдвоем погулять. Когда улица пустела, Жанна быстро приклеивала листовки на дома и заборы, а Люся озиралась вокруг, боясь, что вот-вот за спиной раздадутся шаги...

Так и шли дни, полные забот и огромного риска.

Однажды утром, перед уходом девушек на службу, к ним заглянул длинный шофер Бибраха — Петр Рябуха:

— Кто ж так койки застилает? Надо, чтоб одеяло до полу свисало. Вот так!

Он быстро застелил постели по-своему и, подмигнув девушкам, исчез.

— Он — что? — Люся покрутила пальцем у виска. Но только собралась накрыть постель по-прежнему, как услышала голос Ульяны:

— Оставь! Так надо!

А вечером, когда Люся, отбросив одеяло, полезла под койку за чемоданом, Жанна предупредила:

— Осторожно! Там оружие. Ребята хранилище около комендатуры очистили. Не сегодня-завтра фрицы хватятся. Будем надеяться, к нам не заглянут.

Люсе показалось, что она и спать легла не на матрац, а на эту холодную сталь. Девушка покатила со смеху.

— Ты чего? — встрепенулась Жанна.

— Ничего! — Люся не могла остановиться и говорила сквозь смех. — Я вспомнила Рахметова... Он спал на гвоздях, а я не могла этого представить. Мы же спим кое на чем пострашнее и хоть бы что. Даже интересно!..

С этого вечера Кузьмичева так много стала смеяться, что даже немцы прозвали ее хохотушкой. Жанна говорила, что это у нее нервное. Аптекарьша Александра Филипповна — что возрастное. А Люся смеялась, видимо оттого же, отчего вспыхнула и стойкая улыбка Нины Фуртак, — от яркого света надежды, оттого, что стала полезной смелым, хорошим людям. Люся смеялась и над фашистами: комната, в которой хранились оружие и боеприпасы, была напротив их общежития, опломбированная и закрытая, а в нее Петр сумел забраться среди белого дня. Ранним утром Рябуха умудрился вынести оружие из-под их коек, спрятать его под заднее сиденье комендантского «опеля» и вывезти из «собачника».

Оружие это очень пригодилось: в округе уже всю действовали два крупных партизанских отряда. Один — «За Родину», им командовал капитан Иван Бовкун —

обосновался в лесах, расположенных к северу от Бобровицы; второй, возглавляемый бывшим военным летчиком Александром Кривцом,— к юго-западу от села. А между ними на бобровицком холме, в самом стане врагов, вели свой тайный, каждодневный бой подпольщики.

Часть бойцов партизанских отрядов отправилась к фронту. Большинство же решило действовать против врага, оставаясь в здешних лесах. Остался лейтенант Иван Головка, с которым Николай встречался у Будника,— он стал сначала комиссаром, потом секретарем партийной организации отряда имени Щорса, который возглавил его друг и односельчанин, летчик с подбитого самолета Александр Кривец. Остались люди и вокруг Порфирия Кихтенко — они вошли в отряд «За Родину».

Александр Кривец и его друзья начали с того, что, одевшись полицейскими, захватили легковую немецкую машину вместе с ее хозяином, важным офицером из Чернигова. На ней партизаны прибыли туда, куда не доехал фашист, сумели вооружиться за счет гитлеровцев и ушли в лес, решив раздобыть побольше автомашин, чтобы стать неуловимыми для врага. Так и возник подвижный отряд имени Щорса, наводивший ужас на немецкие гарнизоны. О боевом пути этого отряда, о десятках смелых операций подробно рассказал его командир, Герой Советского Союза Александр Кривец в недавно изданной в Киеве книге «Багряными дорогами». В числе особо отличившихся партизан отряда он одним из первых называет разведчика Николая Алексеевича Печенкина, подчеркивает особо важную роль его и всех бобровицких подпольщиков в подготовке и проведении многих боевых операций, а главное, в борьбе с фашистскими карателями. Вот что он пишет:

«Как правило, в облаву на партизан фашистское командование посылало так называемые охранные войска. На Украине их было не меньше 20 дивизий. На наш отряд, уже выдержавший больше десяти ударов карателей, гитлеровские генералы бросали каждый раз от одного до двух, а то и больше полков. Перед наступлением крупных карательных сил проводилась продуманная подготовка: фашисты засылали в отряд

шпионов, прощупывали огневые точки передовых постов, после этого начинали бомбардировки или массированную артподготовку занятых нами лесных массивов. И только после этого в наступление на лагерь партизан двигались танки, бронемашины, цепи автоматчиков... За несколько дней до облавы от Печенкина и из других источников информации мы узнавали о размерах и сроках угрозы и вовремя принимали меры: большую часть хозяйственного оборудования прятали в малодоступных чащах, в селах и хуторах, а сами с оружием и вещевыми мешками перебирались в другие лесные массивы. Каратели бомбили лес, бороздили его танками, автоматчики прочесывали каждый квадратный метр, но кроме пепла от партизанских костров и черных масляных пятен на стоянках автотранспорта ничего не находили».

Постоянную связь с отрядом Кривца подпольщики с помощью связных поддерживали через Федора Будника и Нину Фуртак. В особо тревожных или экстренных случаях в отряд тайком уезжал сам Николай Печенкин. Частым гостем у партизан был Петр Рябуха.

На долю Люси Кузьмичевой выпало через дом Ульяны Матвиенко в Макаровке поддерживать связь с отрядом «За Родину» — помогать в этом Нелину. Ульяне из-за разъездов не часто приходилось бывать дома, вот ее и заменяли Люся или Жанна. Люсе все это казалось вовсе не страшным. При переходе через железную дорогу всегда стояли посты, но Люсе подпольщики выправили такой аусвайс, что вражеские солдаты никогда ее не обыскивали, и она спокойно проносила мимо часовых и листовки, и советские газеты, и зашифрованные записки от Нелина или Ремова, и даже оружие. Иногда на встречу с ней приезжал Андрей Ильич Конишевский, учитель, командир одного из партизанских батальонов в соединении «За Родину».

В общем Люсе хорошо было среди новых друзей.

«Нам помогла молодость,— напишет позднее Люся.— Это и неудивительно! Именно юным присуща ценная черта: умение раскрывать сердца друг другу. А поскольку я попала в среду молодежную, то не прошло и недели, как мне стало ясно, что я нахожусь не

просто среди своих людей, но и среди людей замечательных, которых я сразу поняла».

А к этому смело можно добавить, что и полюбила. Иначе не смогла бы с такой теплотой писать о них через тридцать лет. О той же Ульяне Матвиенко: «Крестьянская девочка, выросшая в глухой деревне, где даже не было десятилетней школы, электричества и радио, она была умна и начитанна. С ней всегда было весело и интересно. Ее отношения с немцами складывались странно: она умудрялась с ними так ссориться, что уму непостижимо, как они ее держали. Перессорится с ними, а потом, заливаясь от смеха, рассказывает, как отравляла настроение шефу».

О Николае Печенкине:

«Коля, человек вроде бы без особых внешних примет, обладал одной интересной внутренней приметой, он будто излучал свет и озарял им других. С появлением Коли все преображалось. Он нес с собой жизнь! Коля был душой нашей группы, а Нелин — ее умом. Хотя слово «ум» в полной мере можно отнести и к Коле, так как идеи исходили и от Нелина, и от Коли. Но восхищение мое вызывал именно Коля. Он был — сама энергия. А плюс к тому — и сама честность».

Как бы дополняя подругу, Жанна пишет:

«Николаю была свойственна душевная чуткость и деликатность: он хорошо сходился с людьми, и к нему, насколько я могу судить, относились с уважением все, кто нас окружал. Он был уверен в себе, с большим чувством собственного достоинства, знал, что делает большое дело, знал, что рискует жизнью, и не боялся. Все это и позволяло ему чувствовать себя нужным».

Темным декабрьским вечером, когда Люся штопала, а Николай вполголоса разговаривал с Жанной, к ним в комнату вошла — что было крайне редко! — переводчица жандармерии Надя Голуб и сразу обратилась к Николаю:

— Зайдем на минутку ко мне. Очень нужен.

— Я?!

Николай удивился. Но пошел. До сих пор это избежание риска потерять в случае провала сразу два важных поста он с Надей только здоровался, а связь с ней поддерживали лишь Нелин и Петр Рябуха.

— Случилось что-нибудь? — насторожилась Люся. Но тут же девушки услышали, как за дверью простучали подкованными сапогами жандармы, как раздался громкий стук в соседнюю, Надину комнату и прозвучали резкие голоса:

— Откройте немедленно. Мы знаем, у вас Ремов. Его велено арестовать.

Это случилось около десяти часов вечера. Выходить куда-нибудь было поздно.

Да и куда идти?

Не исключено, что другие подпольщики схвачены. Может, и их ждет та же участь?

Девушки лихорадочно припоминали, нет ли у них в комнате чего-нибудь подозрительного, радовались, что ушла к себе в Макаровку Ульяна, забрав для партизанского отряда магнитные мины. Всю ночь не могли уснуть. А утром Петр Рябуха рассказал им, что кроме Николая вчера были арестованы Литвиненко и Сколковская. Тамара Александровна — прямо в больнице, Наталья Александровна — на пути из комендатуры домой. Сестрам даже с детьми не разрешили повидаться. Арестован и заведующий ветлечебницей Василий Манзюк. Все они пока тут, в бобровицкой тюрьме. Петр сумел передать Николаю теплые вещи и ватное одеяло. Но сейчас к тюрьме никого уже не подпускают. Так что не надо к арестованным рваться, нельзя обнаруживать сочувствия к ним, надо спокойно продолжать работу.

«Картофельные офицеры» и сами в тот день никуда не выезжали, и переводчицам приказали не отлучаться. К вечеру прибыл с помощниками щеголеватый молодой офицер гестапо. Не заходя в комендатуру, они скрылись в жандармерии. И все замерло — до самого утра. А наутро девушек снова встретил Петр:

— Вы еще не видели Николая? Подойдите к тюрьме. Гестаповцы уехали. Только не знаю, сможет ли он встать.

К тюрьме пошли четверо — Люся, Жанна, Уля и Ольга Гораин. Полицай показал им, к какому окну подойти. У Николая было не лицо, а кровавая маска. Жанна, лишь взглянув на Николая, расплакалась. А он, с трудом разлепив распухшие губы, попытался улыбнуться.

— Не надо плакать,— проговорил по-немецки.— И говорите на «дойтч». Полицейские не понимают... Говорить смогла одна Ульяна:

— Ты молчи и только кивай,— приказала она Николаю.— Арестованы фрау Лерерин и ее сестра. Знаешь?

Николай отрицательно покачал головой.

— И ветеринар...

Николай кивнул, показав жестом, что они с Василием Манзюком в одной камере.

— Мы вас освободим, Николай, нынче же ночью! — решительно заявила Ульяна.— Ты сможешь ехать верхом?

Полицейский прикрикнул:

— Запрещено говорить непонятное! — и прекратил свидание.

— Медлить опасно! — сказала в общежитии Ульяна.— Я сейчас же в Макаровку: и партизанам передам, и своих ребят организую.

Ульяна под каким-то предлогом уехала домой, а часа через два, уже без спроса, вслед за ней отправилась и Люся: предупредить, чтобы в эту ночь не рисковали — в Бобровицу вступил и расквартировался по соседству с тюрьмой вражеский полк.

А наутро заключенных через все село повели на станцию, чтобы поездом переправить в нежинскую тюрьму.

Начинался день 17 декабря 1942 года...

В ГЕСТАПО

В ту тюремную ночь, когда тело Николая словно в раскаленных тисках сжала боль, а голова, казалось, разламывалась на части, в ту тяжкую ночь ему приснилась мать.

Боль, согнув Николая в дугу и сделав невесомым, словно куда-то его вознесла. Потом, свинцово потяжелев, он стал неудержимо падать, напряженно ожидая повторения удара, который был на допросе, когда четверо дюжих гестаповцев, раскачав его за руки и за ноги, подбросили к высокому потолку и расступились. Тут, в бреду, он снова взлетел, но еще выше, чтобы падать куда-то стремительней прежнего. Вот тогда-то в его сознании вдруг и возникло туманным пятном лицо матери. Серые губы ее шевельнулись, и он сначала по движению их прочитал, а потом и услышал — со всеми родными интонациями:

— И-и-и, Николка, на этом свете сколько ни живи, все одно только гостем останешься: пришел, погостил и ушел. Да дело не в том, сколько гостил, а как — хорошо или плохо...



Мать с улыбкой подождала ответа и вдруг скрылась — вернее, мгновенно была забыта Николаем, потому что остро напомнила о себе тюремная камера: кто-то, пробираясь к единственной параше, споткнулся и упал, разбудил сразу многих арестантов. Но сон победил их, зыбкое равновесие в переполненной камере снова кое-как восстановилось.

Только в ту ночь, когда ему привиделась мать, Николай после изнурительной борьбы с болью и кошмарами снова обрел способность размышлять. До этого он не мог думать ни о чем, кроме мучительной боли. Теперь же ему стало ясно, что все, кто собран в эту камеру, обречены фашистами на смерть.

На допросы никого не вызывали, кормили раз в сутки уже знакомой по лагерю бурдой. И каждый день уводили по несколько человек на расстрел. Значит, ему на этот раз не выкрутиться!..

И вышло так, что в ту первую ночь его выздоровления вся довоенная жизнь, будто в подтверждение материнских слов, вдруг припомнилась Николаю сплошным праздником — его праздником! — с победами и почестями, с песнями и улыбками друзей. В ту ночь он впервые после допроса заснул без кошмаров. И был этот краткий сон спасительным. Когда раскрыл Николай глаза и увидел над собой встревоженное лицо Манзюка, то нашел в себе силы пошутить:

— Ты за кого, Мироныч: за большевиков аль за коммунистов?

— Тихо! Ты что! — прошептал, озираясь, Манзюк, но Николай тихонько продолжал:

— Помнишь «Чапаева», там мужики об этом Василия Ивановича спрашивают?

— Замолчи! Тут полно шпииков! — испуганно шепнул Василий Миронович и тут же тихонько порадовался: — Опомнился? Заговорил?.. А что было-то!..

Было так...

Об угрозе ареста Николая за неделю предупредил Рябуха. В сиреневых предутренних сумерках Петр стоял на дорожке к крыльцу комендатуры. Он знал, что первым по ней торопливо пройдет Николай. Остановил друга Петр не приветствием, а двумя негромкими словами:

— Надя сказала...

Николай уже не раз убеждался, что за таким вступлением Петр передаст что-нибудь особенно важное, и весь обратился в слух.

— Надя сказала,— тихо повторил Петр,— уходи в лес, к партизанам. На тебя донос в черниговское гестапо. Надя подслушала телефонный разговор своего начальника. Ему сказали из Чернигова, чтобы до их приезда тебя не трогали, но из Бобровицы никуда не выпускали. Надя сказала: «Шутки в сторону, таких звонков из Чернигова еще не было. Значит, гестаповцы вызнали что-то».

От себя Петр добавил:

— Вот, сволочи, момент подобрали! И твой Бибрах в отпуске! Может, хоть слово замолвил бы...

— Не думаю,— ответил Николай.

Николай посоветовался с Нелиным, и тот рассудил:

— Я бы первым делом дал знать в отряды. Гестапо ж на самолете сюда не полетит — аэродромов тут нет. И автомобилем не проедет — дороги все замело. Значит, один путь — поездом. Я сегодня же сам пойду в отряд «За Родину», а ты Галю Вакуленко к Нине Фуртак с этой вестью отправь. У нее как раз там на дневке партизаны Кривца.

Но первый ответ пришел через Ульяну от самого уполномоченного ЦК партии Украины Якова Романовича Овдиенко,— он был тогда в отряде «За Родину»: «Покидать столь необходимый для нас пост можно только при самой крайней опасности».

Николай уничтожил все, что могло его уличить, переправил в Щастновку, где был надежный тайник, гранаты и лишнее оружие. При себе оставил только выданный Бибрахом наган с пятью патронами.

Когда Надя позвала его к себе из комнаты девушек, Николай уже знал о приезде гестаповцев. Поэтому и не удивился, услышав от Нади:

— Коля! Тебя пошли арестовывать!

— Что ж! Арестуют — выпустят! За мной вины нет!

Самое страшное для Николая началось в коридоре жандармерии. Там его ожидал высокий, щеголеватый лейтенант — гестаповец. Он сразу спросил:

— Откуда знаешь немецкий?

— Мать учи...

Страшный удар кулаком по лицу чуть не свалил Николая с ног.

А дальше так и пошло: вопрос — ответ — удар. Лейтенанта сменили четверо дюжих гестаповцев.

— Кто твой отец?

— Свяще...— Удар.

— Как попал в Киев?

— Там жил двоюродный брат! — Удар.

— Ты заслан Москвой?

— Ничего подобного!

Четверо гестаповцев схватили его за руки и за ноги, раскачали и, подбросив к потолку, расступились, он ударился о цементный пол.

Николая подбрасывали к потолку еще несколько раз. У лейтенанта было много вопросов, и его помощники, сев на стулья, коваными сапогами пинали Николая от одного к другому до тех пор, пока у него изо рта не хлынула кровь.

Избивали его долго. Николай очнулся в тюрьме. Над ним склонился заплаканный Манзюк. Николай кивнул ему, будто говоря: «Я никого не выдал...»

Манзюк его понял. Кивнул в ответ и прошептал:

— ...Гестаповцы уехали чуть свет.

Левая рука Николая повисла как плеть, на правой еле шевелились пальцы. Николай видел только одним глазом, другой заплыл. Но когда вернулось сознание, он мысленно повторял главное: «Я вынес! Я жив!»

Всю ночь они с Манзюком ждали тех, кто придет на выручку. А наутро, держась за друга, Николай брел через все село на станцию. Другим узникам родные успели передать узелки с продуктами. К нему никто не подходил. Он понял: друзья не имеют права рисковать. Но на окраине села к нему прорвалась с узелком какая-то незнакомая девчурка:

— Возьмите! Это вам!

На перроне к нему подошла Жанна.

— Село с вечера занял фашистский полк, бой был бы слишком неравным,— успела шепнуть она.— Но мы тебя выручим, Коля! Верь!

Ей-то он, конечно, поверил. Но вера в свои силы, казалось, псыякла. Он, будто сквозь сон, видел, как вели их по Нежину к тюрьме, слышал, как Манзюк прошептал ему:

— Вот удача! Друга тут институтского повстречал, Назарчука, обещал помочь...

В камеру на десять человек натолкали не меньше сотни арестованных. В нежинскую тюрьму свозили людей из семнадцати районов. В камере были люди из Прилук, из Ични, даже из Бахмача. Можно было только стоять, а если спать, то по очереди и сидя, подтянув ноги к груди. И хотя Манзюк пристроил друга, как только мог лучше, Николай не мог спать: болела, казалось, каждая клеточка тела.

Но после той ночи, когда привиделась ему мать, небывалая жажда жизни вновь вспыхнула в Николае.

На пятнадцатые сутки, когда до Нового года оставались считанные часы, всех вывели на тюремный двор, чтобы дезинфицировать камеру. Николай после прогулки по свежему воздуху задремал, но сразу услышал, когда раздалось:

— Ремов, Манзюк! Из Бобровицы! С вещами! — Конвойный их ожидал, а они смотрели друг на друга и не спешили вставать: что ожидает? Смерть?

— Пошевеливайтесь!

Их привели в ту же комнату, где они раздевались. И тут их первым поздравил с освобождением бобровицкий жандарм Антон, один из тех, кто сопровождал их в тюрьму:

— Николаус! Я всегда знал, что ты нам еще поиграешь на баяне!

Им возвратили одежду. Вместо украденных жандармами брючных ремней дали по веревочке. Антон довел их до красного двухэтажного дома. Там их, еще на лестнице, встретила голубоглазая Лида Данильченко, переводчица начальника нежинской жандармерии.

— Ты свободен, Коля! — Благодарн свою невесту Олю Гораин! Она так тебя любит!

Лида протянула руку к Манзюку:

— Поздравляю! А за вас хлопотал агроном Назарчук! Его жена вас тут ожидает!

Потом они оказались в большом, богато обставленном кабинете начальника жандармерии, обер-лейтенанта лет сорока пяти, который звучным, хорошо поставленным голосом, глядя не столько на них, сколько на свою юную переводчицу, объявил:

— Вы можете считать, что были арестованы случайно. Вы невиновны и сейчас вернетесь в Бобровицу. Вы должны забыть обо всем неприятном, что испытали или видели тут.

— Спасибо,— пробормотали Николай и Василий.

Пока они были в жандармерии, Антон успел раздобыть бочку пива для своих начальников. В поезде у Николая кружилась голова, и он всю дорогу молчал. На свою станцию прибыли за два часа до полуночи. Фашисты, поджидая пиво, прислали к поезду кучера с телегой.

Стояла оттепель. Ночь была непроглядно-темной. Сеял мелкий дождь. Тем зловещее показались друзьям отблески далекого зарева в ворохах темных туч.

— Что там, пожар? — спросил Николай.

— Иллюминация! — прохрипел кучер Бергер.— Третий день горит село бандита Кривца. Партизанам капут! Все села около леса пылают!

Только по грохоту колес о булыжник узнали, что въехали в Бобровицу. Город и в ночь под новый год оставался тихим и темным. Лишь из «собачника» слышались голоса: немцы встречали Новый год. У ворот приезжих окликнули по-русски и по-немецки — жандарм и полицейский: караул был усиленным.

Телегу встретили чуть ли не все обитатели «собачника» во главе с «картофельными офицерами» и начальником жандармерии: они ждали пива. И все стали шумно поздравлять Николая с Новым годом, утверждать, что никогда не верили в его вину. Но Николай вздохнул свободно лишь после того, как ожидавшая его в сторонке Надя Голуб, крепко обняв, шепнула: «Ты в свою комнату не ходи, а иди прямо ко мне. Я воду поставила греть. Пока ты выкупаешься, я белье тебе раздобуду».

Они вдвоем провели новогоднюю ночь.

Надя покормила его чем могла, а потом неожиданно сказала:

— Теперь я могу все между нами поставить на место.

— Что именно? — Николай сразу насторожился.

— Помнишь, ты как-то спросил меня, комсомолка ли я? Я не ответила... Перед войной меня в члены партии приняли. Теперь я тебе все могу открыть!

— Почему?

— Ты выдержал пытки и никого не выдал! Я знаю.

Надя рассказывала о себе, но так, словно и о нем тоже — обо всей их довоенной жизни. Но она была постарше, потому и успела побольше.

Перед войной она учительствовала в селе Мощенки Городнянского района, преподавала украинский язык и литературу. В мае сорок первого ей, двадцатидвухлетней, секретарь райкома торжественно вручил партийный билет, а уже двенадцатого августа — коротенькую справку:

«Настоящей удостоверяется, что учительнице Голуб Н. Е. разрешается выезд за пределы Городнянского района по семейным обстоятельствам».

Муж Нади был на фронте. И не к родителям посылал ее «по семейным обстоятельствам» райком партии, а туда, где ей выдали еще один важный документ:

«Черниговский областной комитет КП(б)У. Особый сектор. Секретарю Носовского ГК КП(б)У тов. Стратилату. Обком КП(б)У командирует в ваше распоряжение члена ВКП(б) тов. Голуб Н. Е. для использования на работе по вашему усмотрению».

Секретарь обкома по кадрам М. С. Новиков, подписывая это направление, как и другой секретарь — Н. Н. Попудренко, тоже беседовавший с Надей, не скрывал, что в случае оккупации она останется в Носовке подпольщицей. Но оба они не сказали Наде, что и сами войдут в состав подпольного обкома партии во главе с его секретарем А. Ф. Федоровым, будущим дважды Героем Советского Союза.

В ту новогоднюю ночь Голуб не могла рассказать об этом Николаю, как не могла и показать документы. Они были за линией фронта, в Уфе, и Надя увидела их после войны, когда получила такую открытку:

«Тов. Голуб! При первой поездке в Чернигов просим зайти в паспортный отдел областного управления милиции по вопросу вручения вам ваших личных документов, поступивших из ЦК Украины». Тогда ей возвратили и партбилет, и паспорт, и эти справки, которые в сорок первом секретарь Носовского райкома партии вместе с направлением из обкома отобрал у нее, вложил в плотный конверт и, надписав его для отправки на сохранение в Уфу, протянул ей руку:

— Прощай, Голуб. Здравствуй, Апанасько! Не запутайся. Вот тебе паспорт на новую фамилию! Вот назначение на новую работу!

Надя не проработала в новой школе и двух недель, как Носовку захватили фашисты. Уходя вслед за нашими войсками, Стратилат заметил у дороги молодую учительницу. Сказал коротко:

— Не трусь, Голубка! — Ее с детства так звали. — Жизнь подскажет, что делать!

Секретарь райкома партии будто знал, что Наде не видать больше своего напарника, того, кто, подсев к ней однажды в столовой, назвал пароль и деловито шепнул:

— Зови Докукиным. На случай, если придется из Носовки скрыться, покажу тайник: туда положишь записку, где тебя искать. А пока — жди!

Прождав напарника до зимы, Надя оставила записку и, отшагав двадцать пять километров до своих Озерян, что в Бобровицком районе, обняла родителей. От отца, бывшего шофера Бобровицкого райкома партии, Надя ничего не утаила. Он выслушал дочь и согласился, что пора действовать, и лучше в родных местах: легче найти поддержку.

На пути из Носовки ее задержал один из бобровицких «картофельных офицеров», на ломаном русском потребовал аусвайс. Она в ответ так бойко заговорила по-немецки, что он, раскрыв блокнот, попросил ее написать заявление о желании работать в их комендатуре и заверил, что сам крайсландвиртшафтсфюрер Бибрах обрадуется образованной сотруднице.

Надя посчитала это большой удачей. И не упустила другого случая обратить на себя внимание новых «хозяев»: кинулась на помощь трем «картофельным офицерам», которые спяну загнали бричку в занесенный снегом кювет. Она умело распрягла, а когда вытащили бричку, запрягла лошадь. Один из офицеров оказался Вальтером Бибрахом. Он не припомнил, чтобы ему показывали ее заявление, но в благодарность за выручку пообещал устроить Надю на хорошую работу в Бобровице. И устроил... уборщицей на кухню.

Он то ли присматривался к молодой учительнице, то ли рассчитывал, что она от кухни откажется. Но Надя согласилась, потому что поняла: из кухни мож-

но держать под наблюдением весь «собачник». Неделю спустя ее остановил долговязый Петр Рябуха, работавший раньше с ее отцом в райкомовском гараже и не раз бывавший у них дома:

— Здравствуй, Голубка! Чего же тебя немцы так низко ценят? Хочешь, получше устроим?

— А ты кто у них? Отдел кадров?

— Я-то нет. Я Бибраха вожу,— без улыбки ответил Петр.— Но найдется и отдел кадров. Наш.

Очень скоро ее вызвал начальник жандармерии:

— Вас рекомендуют ко мне переводчицей. Но должен предупредить: что увидите или услышите, в этих стенах должно и остаться. Иначе... Иначе — время военное, фрейлейн! Вы согласны?

Надя молча кивнула. Петр ее предупредил:

— Место страшное, всего нагладишься! Но ты не трусиха, знаю!

Ее работа в жандармерии началась со встречи с предателем — бывшим кулаком из Кобыжчи. Он закатил льстивую речь в честь оккупантов и предложил назвать всех коммунистов и активистов села. Без малейшей уверенности, что жандарм не понимает русского, а предатель немецкого, Голуб не перевела последних фраз, а предателя заверила от имени шефа, что услугами его воспользуются.

Однажды Нелин, с которым ее познакомил Петр, сказал:

— Жди на днях того оратора из Кобыжчи арестованным! — И усмехнулся: — Надеюсь, его-то выручать не станешь? Наши хлопцы пачку антифашистских листовок в его хату подкинули, а в полицию — анонимку: где он их прячет и как распространяет. Не одному патриоту успела помочь Надя. Но, когда действительно привезли кобыжчанского «оратора», Голуб все сделала, чтобы отправился предатель в нежинскую тюрьму.

Полиция по малейшему подозрению привозила советских патриотов в Бобровицу, где шеф жандармов чинил первый «суд». Сам он приговоров не выносил, арестованных отправлял в нежинскую тюрьму, откуда почти никто не возвращался.

— Не волнуйтесь! Обдумывайте ответы! — глядя в глаза арестованным, на свой риск и страх, внушала

Надя. Начальнику своему объясняла: — Я предупреждаю, что тут надо говорить только правду!

И поныне хранит Голуб короткую справку как память о тех пяти часах, в течение которых бюро Черниговского обкома партии с участием видных партизан и подпольщиков обсуждало ее отчет:

«Выдано члену ВКП(б) тов. Голуб Надежде Ефимовне, партбилет № 3677455, в том, что она в 1941 году в августе месяце была оставлена в тылу немецких оккупантов для подпольной работы. Задание обкома партии выполнила, работала на подпольной работе до августа 1943 года, т. е. до ухода в партизанский отряд. Отчет о ее подпольной работе утвержден на бюро Черниговского обкома КП(б)У 20 ноября 1944 года».

В отчете перечислены спасенные ею люди.

Подписана справка секретарем обкома М. С. Новиковым. С Н. Н. Попудренко поговорить Голуб больше не довелось: секретарь обкома погиб в борьбе с фашистами, посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В томе «Истории городов и сел УССР», посвященном Черниговщине (он издан недавно Институтом истории Академии наук Украины), сообщается, что из Бобровицы фашисты безвозвратно отправили в тюрьмы и лагеря четыреста восемнадцать жителей, в селе Марковцы сто двадцать сожгли живыми, в Кобыжче уничтожили полторы тысячи человек... Истребление людей шло постоянно и планомерно. Как же дорога каждая спасенная жизнь!

А Надежду Голуб считают своей спасительницей десятки людей.

После возвращения Ремова из тюрьмы у нее с ним состоялся откровенный разговор. И Надя перестала таиться и от его друзей.

Но как же все-таки спаслись Ремов и Манзюк?

Об этом написала мне Ольга Гурьевна Лесенко:

«Самый памятный день за годы оккупации был для меня день страшный — день, когда арестовали Колю. Меня просто потрясло, каким вели его через Бобровицу на вокзал: изуродованного, с кровавыми подтеками, с распухшим лицом.

Никто не видел, не знал и не может даже представить, что я пережила!

И в тот страшный час его, быть может, последнего испытания — ведь он знал, что мало кто из отправленных в Нежин возвращается! — я дала себе клятву спасти его во что бы то ни стало, хотя и понятия не имела, как это сделать...»

...Мать, когда нашла под матрацем у Ольги пистолет, расстроилась:

— Сейчас же спрячь! Чего ты с пистолетом добьешься? Надо кого-нибудь просить за Николая. Вот я подумала о Лиде Данильченко — она же, ты говорила, у начальника нежинской жандармерии служит.

Ольга сразу оживилась:

— Я обязательно ее уговорю! Надо ехать!

Галя с Ульяной принесли Ольге пропуск для проезда по железной дороге. А Мария Нагога посоветовала раздобыть четверть самогона. Тогда она бралась устроить Олю на паровоз к одному пожилому немцу, любителю выпить. Как всегда, дельную мысль подал Нелин:

— Ты ночевать-то где будешь? — спросил он. — Подумала? Ведь за один день не справишься. — И посоветовал: — Ты запиши-ка адресок Василия Николаевича Чичковского. Помнишь, учителя физики? Сам он погиб в первые месяцы. Но живы его мама и бабушка, они помогут тебе.

Оказалось, что Данильченко в городе заприметили многие. Но Чичковские знали о Данильченко больше других.

— Она жалеет, что связалась с этим обер-лейтенантом, — рассказали они Ольге. — Стала такая злая! Трудно сказать, что у вас получится из визита к ней. Вы устало выглядите и плохо одеты. А к ней нельзя приходить бедной просительницей, важно произвести впечатление...

С помощью соседей они нарядили ее как могли. Старались не зря.

Лида, увидев землячку, воскликнула с явным изумлением:

— О! Смиреница Ольга простилась, кажется, с монашеством? Или вернулась к нему — к отцовским сундукам и к отцовской вере? Что ж! Как говорит мой обер, разницы между идеями и тряпками нет: и то и другое можно менять... Зачем ты здесь?

— Я пришла просить тебя об одном человеке...—
И, увидев, что в голубых глазах Ольги сразу промелькнула усмешка, добавила вдруг дрогнувшим голосом: — Я люблю его, Лида...

— Обожди минутку, я отпрошусь у моего обера. Не тут же нам о любви разговаривать!

Они вышли на улицу.

— Значит, любишь? Кто ж он? Богат?

— Лида!.. — с укором перебила ее Ольга.

— Ах, да! Ты еще веришь в любовь! Чепуха! Скажи, из-за кого же ты так рискуешь? Уверена, что пришла сюда или без пропуска или с поддельной бумажкой. Так за кого же ты просишь?

— За жениха...

— Кто же он? Я смотрела списки. В нем из Бобровицы одни пожилые да старые.

— Есть молодые, Лида... Ремов...

— Он не из местных?

— Нет. Но ты его знаешь. Это переводчик Бибраха!

— Он арестован? — изумилась Лида. — Я не знала его фамилии, но самого помню прекрасно. Он помог мне устроиться на почту, в паре с одним фрицем дежурить на телефонах. А тот помог подучить немецкий. Твой выбор одобряю! Николай — приятный парень. Но что же я могу сделать, если сам Бибрах дал арестовать своего переводчика?

— Не Бибрах, Лида! Бибрах в отпуске! В том-то и беда! Николая оговорили. А Бибрах к нему хорошо относился!

— Если хорошо, то приедет — выручит!

— А не могут за это время казнить Николая? Его так били!..

— Могут! — жестко отрезала Лида.

Она направилась было от Ольги в жандармерию, но, сделав несколько шагов, остановилась:

— Ладно! Только бы списки не отправили в Бобровицу... Да не в нашу! Есть под Черниговом — другая. Там — концентрационный лагерь. Тогда уже поздно! Зайди еще раз к концу работы.

Что-то все-таки дрогнуло в Данильченко. Вечером она встретила Ольгу как старую подругу, даже поцеловала, и протянула ей пропуск:

— Вот бери и торопись: как раз успеешь на поезд! А твой суженый будет к Новому году дома. Беги! — Но сама же задержала Ольгу за руку и прошептала: — Как тебе кажется? Я пропала совсем? Я не выберусь из этого ада? — Лида, не договорив, махнула рукой: — Ладно! Езжай! И верь: Николай будет дома!..

Ольга Гораин вспоминает:

«Когда Николай пришел к нам, вид его был еще ужасен. Но я за слезами и радостью не сразу смогла все это разглядеть и что-нибудь вообще сообразить. Только — одно: «Жив, жив, жив!» Но тут же представилась и вся картина сложного нашего, и особенно его, положения: Николай болен и, конечно, взят врагами под наблюдение. А все мы? Ведь именно в тот день узнали мы подробности трагедии села Пески, где родился Павло Тычина и откуда начал партизанскую борьбу его земляк Александр Кривец».

Эти подробности принесла Нина Фуртак, в ее доме побывал постоянный связной из отряда Кривца Михаил Подлесный. Он рассказал, что в Пески каратели нагрянули прямо из Киева, так что бобровицкие подпольщики были бессильны кого-нибудь предупредить.

В село ворвались под вечер, всех жителей согнали в церковь и подожгли ее: сгорели и убиты сотни людей.

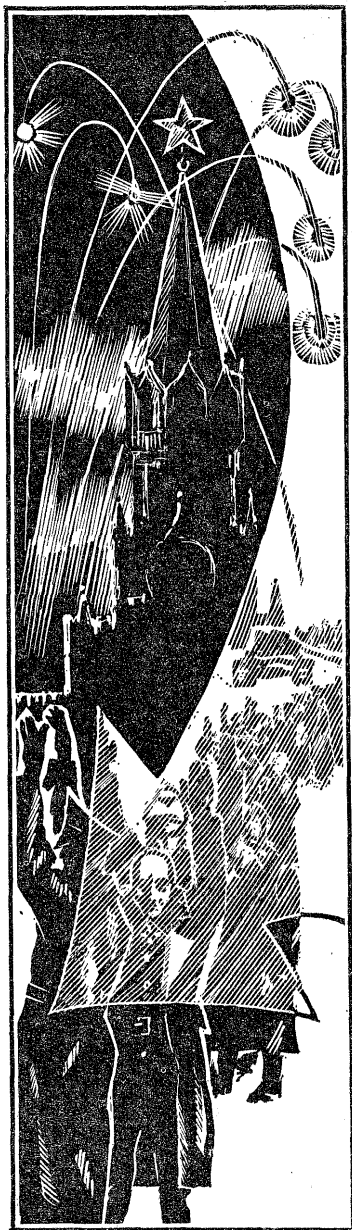
Сожгли также прилесные села Мочалище, Красное, Бирки.

Погибло много родных Александра Кривца и других партизан. Не пощадили фашисты ни детей, ни стариков.

По виду в тот день все у Гораинов было так же, как и всегда. Пили чай, тихонечко разговаривали. Но Николай ожил только с появлением Неллины. Сам поднялся навстречу учителю, попросил у него закурить — впервые в жизни. Потом поинтересовался:

- Про Пески слышал?
- Да.
- А мы сколько продержимся?
- Не знаю... Ясно одно: до конца!

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ



Подпольщики продержались в Бобровице еще полгода, а те, кого оставили на местах после провала, и еще два с половиной месяца — до дня освобождения города от фашистов. Значит, подпольный «стаж» работы патриотов — около двух лет. Бобровицкие подпольщики не избежали тяжелых потерь.

В фашистских застенках погибли Наталья Александровна Литвиненко и Тамара Александровна Сколковская. В нежинскую тюрьму сестер отправили вместе с Николаем и Манзюком. Жандармы их даже везли в одном купе пассажирского поезда, но поговорить ни о чем не позволили. А в тюрьме увидеться уже не привелось. До Николая с Манзюком лишь однажды донесся отчаянный крик Тамары Александровны. И неизвестно поныне, как погибли сестры, стойкие патриотки своей Отчизны. В ларец Виктора Владимировича Литвиненко попали только их короткие записки, адресованные соседке, носившей им передачи.

«Молоко получили. Пусть из дома привезут для Тамары лекарство. Просим масла, цибули, молока. Привет. Наташа, Тамара».

«Сухари, полкило сала, пол-литра постного масла, цибулю получили. Передайте сорочки, чулки, блузки. Как дети и бабушка? Передаем грязное белье, бутылку и торбы».

Сухой перечень полученного и запрошенного — ничего больше тюремщики писать не давали. Последнюю записку сестры отправили за три дня до нового, срок третьего года, а уже второго января передачу в тюрьме для них не приняли, объявив, что обе арестантки из Нежина выбыли.

Доносы, особенно на Тамару Сколковскую, сыграли свою подлую роль в судьбе сестер. Петлюровца Шаповала заменила помещица Ризова. Она воспользовалась тем, что во время операции, которую делала Тамара Сколковская, умерла машинистка комендатуры, ни с кем не общавшаяся, молчаливая и очень болезненная женщина, о которой все только и знали, что имя ее Зося. Ризова заявила, что Зосю умышленно зарезала бывшая чекистка Сколковская. Ризова слово в слово повторила донос Шаповала и подала его в жандармерию. В нем упоминалось, что Бибрах в свое время был предупрежден о неблагонадежности Сколковской. Начальник жандармерии по-приятельски принес его коменданту. Не успел еще Николай перевести стряпню Ризовой до конца, как Бибрах, встревоженный упоминанием его имени в доносе, который мог попасть и в гестапо, заявил:

— Сначала я сам проведу дознание!

В Майновке гитлеровец лично опросил с десяток жителей — помнят ли они врача. Все тепло отзывались о Сколковской и о семье ее отца, преподававшего в Майновском сельхозтехникуме.

Николай не терял времени. В больнице провели врачебный консилиум, который подтвердил, что у больной был так называемый прилегающий аппендицит с острым и запущенным воспалением, что почти не давало врачу шанса на положительный исход операции. Письменное заключение консилиума доставили Бибраху. Тот несколько раз заговаривал с Николаем о размере вины хирурга, и чувствовалось, что не прочь

был дело замаять. Но Бибрах очень настраивала не только против Сколковской, но и против ее сестры Олишева.

Положение создалось сложное. И все-таки Тамара Александровна, к восхищению Жанны и Николая, присутствовавших на допросе, держалась спокойно и с достоинством.

— Вас обвиняют в смерти Зоси,— начал Бибрах.— Что вы скажете на это?

— Она умерла бы и без операции.

— А вы были уверены в хорошем исходе?

— Уверенности не было...

— Почему же взялись?

— Врач должен использовать малейший шанс.

— Но вы рисковали, зная, как могут ваши враги расценить смерть нашей сотрудницы.

— Врач думает только о спасении больного. А врагов у меня нет.

— Ошибаетесь! Вас обвиняет сотрудник вашей больницы!

— Я знаю, кто мог это сделать,— сказала Тамара Александровна.— И не принимаю этих обвинений всерьез. Есть люди, которые для достижения власти и положения пойдут на шантаж не только врача, лечащего людей. Придет время, когда эта дама обвинит и вас за то, что вы не возвратили ей дом и усадьбу, зачислит и вас в чекисты или коммунисты...

Бибрах насмешливо фыркнул, но тут же насторожился:

— Почему вы уверены, что донос написан Ризовой? Вас известила об этом ваша сестра?

— Нет. Ризова давно мне угрожает и сама всем рассказала о письме в жандармерию.

— Но дело не только в смерти пациентки! Вы были чекисткой и партизанкой.

— Это неправда!

— Почему я должен верить вам, а не Ризовой?

— Опросите старожилы.

Разговор иссяк. Отпустив всех, кроме Николая, Бибрах долго думал, а потом нашел самый лучший для себя выход, написав резолюцию: «...проведено дознание, считаю возможным передать решение на усмотрение районной управы».

Назначенный вместо Зазимко староста, боясь обратиться к Бибраxu за разъяснениями, долго выспрашивал у Николая, как его шеф разговаривал со Сколковской. Узнав, что вполне доброжелательно, оставил донос без последствий.

Но погубили сестер те же предатели. Последний донос, по которому их арестовали, был написан совместно Шаповалом и Ризовой. Об их авторстве Николай догадался еще по тем вопросам о «партизанке Сколковской», которые задавали ему гестаповцы, а Надя Голуб этот донос сумела и прочитать. О Николае в нем были лишь бездоказательные подозрения: «чужинец», москвич; сомнительно, чтобы в средней школе сумел так прекрасно овладеть немецким. И — вывод: подослан большевиками.

О Сколковской писалось все, что утверждали предатели прежде. Все, кроме того главного, о чем до сих пор с восхищением вспоминают в Бобровице: что именно она, Тамара Александровна, с помощью подполья укрывала и выходила десятки советских бойцов и офицеров, переправленных постепенно подпольщиками в партизанские отряды. До этого, главного, благодаря сплоченности больничного коллектива, любившего Тамару Александровну, Ризова не докопалась. Как и до того, что хирург поддерживала связь с подпольной группой, работавшей в селе Марковцы.

Правда, по рассказам очевидцев, Ризова пронюхала в конце концов, что больные Калинин и Ципко не крестьяне, а раненые советские офицеры. Но донести об этом уже не успела: подпольщики уничтожили гестаповских агентов Шаповала и Ризову.

Бывшего петлюровца, выполняя общее решение, подкараулили и уложили из автомата Петр Рябуха и Михаил Булынин. А спустя некоторое время возмездие настигло и помещицу Ризову. Приговор привел в исполнение Николай Попович.

После этих событий Печенкин был вынужден расстаться со своим другом, бесстрашным Петром Рябухой. До жандармерии дошло, что в селе скрывался его брат политрук, и Надя Голуб вовремя предупредила Петра об опасности. Вместе с молодой женой, учительницей Анной Гусак, Петр ушел в партизанский отряд. А вскоре Надя предупредила и его престаре-

дых родителей о том, что и им лучше срочно уйти в лес. Старики с помощью подпольщиков скрылись из села так неожиданно, что жандармы, нагрянув через полчаса после их ухода и никого не застав, в бешенстве подожгли хату. Вскоре в одной из фашистских облав на партизан погибли отец Сергей Гордеевич и Анна с новорожденной дочкой. Но братья Петр и Николай прошли боевыми партизанскими тропами до освобождения района.

Подпольщикам Бобровицы пришлось разлучиться с Ульяной Матвиенко.

В один из дней Ульяна категорически заявила Николаю:

— Что хотите со мной делайте, но больше нет у меня сил оставаться в переводчицах! Я уйду домой и пригожусь как связная.

Николаю удалось убедить Бибраха отпустить Ульяну. Ее сменила комсомолка Татьяна Муравьева. А дом Ульяны Матвиенко в Макаровке оставался надежной явкой — местом встреч бобровицких подпольщиков с партизанами отряда «За Родину». Сама Ульяна дождалась освобождения и даже успела поступить в Нежинский пединститут. Но жизнь ее неожиданно оборвалась: девушка умерла от воспаления легких.

В ночь на 24 января 1943 года в Щастновке на глазах жены и трех малолетних детей — старшей Вере было одиннадцать, а младшему Вове — два года — был арестован Федор Евсеевич Будник. В тот же день он был доставлен в Новую Басань, откуда сумел переслать жене через людей два письма, написанных на страницах какого-то довоенного журнала.

Эти последние письма стойкого коммуниста и заботливого семьянина дети его, как он и завещал, бережно хранят.

Вот они, его прощальные письма близким...

«Галя! Не грусти и не убивайся... Я ни в чем не виновен, а если умру, значит, тому и быть. Не один я здесь, нас очень много разных людей. Береги детей, жалей их — они наша кровь. Я мечтаю об одном, чтобы ты осталась в доме и живой, а я, раз суждено, перенесу свои муки. В чем будешь нуждаться, проси помощь соседей. Плохо, что я в дорогу оказался в вален-

ках, а не в сапогах, но так и быть. Целую тебя, Верочку, Наденьку, Вовочку — вы все мои любимые дети. Не забывайте отца! А если мне придется умирать — прощаемся. Целую крепко. Береги письмо на память. 25 января 1943 года».

«Добрый день, мои родные! Я жив, сегодня допрашивали в жандармерии. Завтра отправят в Бобровицу, что с нами будет — неизвестно. Спасибо за все, что мне передали. Если буду жив, все пригодится.

Галя! Дети! Не грустите: уцелею, рано или поздно вернусь домой. Я только обо всех вас и думаю, чтобы вы остались дома и здоровыми. Галя, береги детей, все приготовь, чтоб не были раздетыми, босыми, голодными. На всякий случай запаси сухарей.

Теперь к тебе, Верочка: учись пока сама, потому что учиться надо, слушайся маму, привыкай к труду и уважай старших. Жалей сестричку Надю и маленького братика Вову. Я дома на вас сердился, но это ерунда: я — ваш отец и вас очень всех люблю. Как бы ни было мне тяжело, постараюсь выжить и вернуться домой, а если буду умирать, мысленно прощаюсь с вами. Целую Галю, Веру, Надю и маленького Вову. Будьте здоровы. Ваш отец. Н. Басань. Камера. 12 часов дня 27 января 1943 года...»

«Мы умрем, а Родина выстоит», — сказал Федор Евсеевич в горький час встречи своему старому другу Николаю Рябухе. Он и делал все для того, чтобы Родина выстояла. Потому простые, полные сердечного тепла письма Будника — это и его прощальный привет не только жене и детям, но и всем их нынешним сверстникам, детям солдат, выстоявших в войну.

В конце июня в Бобровице был арестован паспортист Василий Моисеенко. Угроза провала нависла над всей группой.

Николая в день ареста Василия в Бобровице не было. Он выезжал на встречу с командиром отряда имени Щорса Александром Кривцом и уполномоченным ЦК партии Украины Яковом Романовичем Овдиенко. Заботясь о безопасности Николая, партизанские руководители назначили встречу в овраге неподалеку от Щастновки, ведь к Евгению Потапенко Бибрах сво-

его переводчика всегда отпускал. Николай достал в Щастновке велосипед и под видом того, что катает свою девушку, без происшествий добрался до ожидавших его партизан.

Впоследствии Герой Советского Союза Александр Кривец, представляя Николая к награде, напишет в уже знакомой нам «Боевой характеристике»:

«Двадцатого февраля 1943 года товарищ Печенкин прибыл в расположение лагеря партизанского отряда имени Щорса, но в силу ряда обстоятельств командование предложило ему возвратиться на место прежней работы, что и было им добросовестно выполнено».

А Николай в тот метельный февральский день приезжал в отряд не случайно. После зверского избиения в гестапо у него открылась язва желудка, его мучили частые головные боли. А главное, стали сдавать нервы. Все чаще появлялось желание уйти к партизанам.

После поездки в Германию Бибрах сильно изменился — похудел, помрачнел. Малыша, отправленного после выхода из тюрьмы на второстепенную работу в село Бранницу, комендант вызывать к себе не торопился. А когда Николай, выбрав удобный случай, сам приехал к коменданту, Бибрах равнодушно заметил:

— Мне говорили, ты сильно изувечен. А ты — ничего...

Николай, выдержав паузу, прямо спросил:

— Вы мне больше не доверяете, шеф?

— Тебе? Почему? — Бибрах говорил нехотя и не глядя на него. — Тебя же выпустили? Значит, все в порядке.

Он даже не пригласил своего переводчика сесть и процедил:

— Просто я еще не во всем разобрался после отпуска. Но ты не голоден? У тебя есть работа?..

— Конечно... А вы похудели, шеф... Не болели?

— Нет. — Комендант поднял на Николая тяжелый взгляд. — Меня в Курск переведут. С повышением... — И быстро, без перехода спросил: — Ну, а с тобой-то как все тут случилось?

— Но, шеф... — Николай был настороже. — Я слово дал в жандармерии не рассказывать...

— Даже мне?!

— От вас, конечно, я ничего не могу скрыть... Вы мне много хорошего сделали. Я этого не забуду...

И Николай так детально стал рассказывать о пытках в гестапо, что Бибрах, махнув рукой, перебил его:

— Хватит! Пойдем ко мне обедать.

Дома Бибрах долго и молча пил. Потом поднял на Николая глаза и совершенно трезво сказал:

— Я знал, что они будут тебя проверять. Но не думал, что так. Это называется превентивная проверка — предупредительная. Ты можешь завтра выходить на свое место...

И добавил:

— Ничего, Кляйнер! Что бы на свете ни делалось, мы с тобой идем в гору! Я подумал, что и Курск — неплохо! Не был там? Говорят, красивый город.

Он объявил, что по-прежнему доверяет Николаю, а чтобы тот быстрее поправился, разрешил ему поселиться в пустом четырехкомнатном доме с садом и террасой, а также нанять себе за счет комендатуры кухарку. Николай тотчас воспользовался этим, пригласил в «свой» дом мать одной девушки, Валентины Ревенко, помогавшей подпольщикам, их семья голодала, а переводчик платил бесценными по той поре продуктами.

Подпольная работа продолжалась. Требовалось предельное внимание. А Николай, измученный болезнями, постоянным сверхнапряжением, все чаще чувствовал, что вот-вот сорвется в этом тайном поединке с фашистами. Потому он в один из февральских дней отпросился у коменданта в Киев на рентген желудка, а сам, спрятав оружие, восемь тысяч патронов, радиоприемник, баян, уехал к партизанам.

Но встретивший его в отсутствие Кривца парторг отряда Иван Головка, тот самый рыжеватый лейтенант, с которым Николай впервые встретился у Будника, посоветовался с другими партизанами и категорически потребовал немедленно «возвратиться на место прежней работы».

Партизанское руководство отлично знало, чем обязано переводчику Бибраха и его друзьям.

Лишь в одной облове партизаны отряда имени Щорса понесли ощутимые потери: когда каратели внезапно нагрянули из Киева, бобровицкие подпольщики

об этом знать не могли. Все остальные облавы — а их, только крупных, на каждый отряд выпало по шести — неизменно проваливались: каратели находили стоянки партизан покинутыми. У подпольщиков были связи со множеством сел, и переводчики всегда знали, где скапливались гитлеровцы. Ничто не могло миновать внимательных глаз Марии Нагоги, переводчицы начальника железнодорожной станции. Помогало подпольщикам и то обстоятельство, что фашисты целиком сосредоточили в бобровицкой комендатуре, а значит, и в руках секретарей-переводчиков выписку продуктов как постоянным гарнизонам полицейских и жандармерии, так и прибывающим отрядам карателей.

«Полицаи, немцы,— вспомнит Жанна,— раз в неделю выписывали в нашем отделе паек по разным нормам: немцам — по самой высокой, полицейским — по самой низкой. Кроме того, через меня проходили сведения, где накапливались продукты. Поэтому я знала, где и сколько продуктов накопилось, где и сколько расположено немцев, жандармов, полицейских, и систематически передавала эти сведения Нелину и Николаю, через которых информация шла в отряды».

Даже когда число карателей, посланных против партизан, переваливало за пятьдесят тысяч, подпольщики заранее устанавливали не только численность отдельных отрядов, но и размещение их. Николай с Нелиным обобщали коллективно добытые данные, прогнозировали направления ударов и намечали пути отхода партизан.

Партизаны не гадали и о том, где, когда и как им лучше взять необходимое продовольствие и снаряжение. Обо всем в подробностях знали подпольщики, а от них — народные мстители. Недаром, когда Нелин появлялся на маслозаводе, рабочие поговаривали: «Учитель пришел, значит, скоро масло в лес уплывет». Из Бобровицы к партизанам регулярно направлялись медикаменты и перевязочный материал, бумага и копирка, различные немецкие аусвайсы и паспорта. В немалой степени через подпольщиков отряды партизан пополнялись и новыми бойцами. И конечно, редкая крупная операция или диверсия партизан обходилась без совета с подпольщиками. По сигналам

бобровицкой группы переводчиков было взорвано несколько вражеских эшелонов, в том числе один почти целиком с офицерским составом, разгромлено несколько жандармско-полицейских баз. Для связи с подпольем через явочные квартиры отряды выделяли лучших партизан, и она не прерывалась ни на неделю. А сведения из Бобровицы шли уже не только в партизанские отряды.

«Однажды,— вспоминает Алексей Нелин,— когда я зашел в командирскую землянку, рядом с Бовкуном и Кихтенко увидел незнакомого человека. Им оказался уполномоченный Центрального Комитета партии Украины по партизанскому движению и подпольной работе Яков Романович Овдиенко. Он с радисткой Галиной Дубовик благополучно приземлился с парашютом и добрался до соединения «За Родину». Яков Романович долго расспрашивал меня о бобровицких подпольщиках, одобрил все наши дела, но попросил собирать данные, необходимые не только для партизанских отрядов, а и для Большой земли. Были назначены явочная квартира и время дежурных встреч. На одну из них, в село Григоровку, съездил и Николай Печенкин. Мы, получив шифр, стали систематически передавать сведения и для Большой земли».

Да, партизаны уже имели связь со своим штабом в Москве не только по радио. К ним прилетали и самолеты, привозя боеприпасы, свежие газеты и забирая раненых.

Значение бобровицкого подполья в общей борьбе черниговских партизан все возрастало. Поэтому и вынуждены были партизаны, несмотря на болезнь Николая, отправить его обратно. Потеплее одев Николая, они доставили его в тот же день к поезду, и он, побывав в Киеве у частного врача, вернулся в Бобровицу со справкой о том, что болен язвой желудка.

Николай мог бы, приехав на встречу с Александром Кривцом и Яковом Овдиенко, сослаться на свои болезни, на то, что предельно измотан непрерывным риском. Но он промолчал.

Терпя на фронте поражение за поражением, фашисты зверели, становились все подозрительнее. Нелин только за то, что стоял и курил возле жандар-

мерии, полицан схватили и бросили в тюрьму. На допросе учителя сумела выгородить переводчица Голуб. Уликами против Алексея Никитича фашисты не располагали, а только одними подозрениями. Полицаев и жандармов давно раздражало, что Нелин жил и свободно разгуливал в «собачнике». Потому начальник жандармерии и счел достаточным «на первый раз», как предложила его переводчица, выдворить Нелина на окраину Бобровицы. Вскоре на частные квартиры были выселены, кроме Нади, и все девушки-переводчицы.

В мае подпольщикам удалось вовремя помочь партизанам соединения «За Родину» сорвать самую крупную карательную операцию фашистов и заслужить благодарность командования, переданную через Нелина. Но стоило это друзьям Николая во сто крат большего, чем раньше, разведывательного труда и нервного напряжения.

Раньше первым, почти безошибочным признаком предстоящей атаки на партизан было появление в кабинете Бибраха примелькавшегося уже подполковника. Он возглавлял карательный батальон и слыл в Чернигове знатоком борьбы с партизанами. Невысокий, узкоплечий щеголь к Бибраху заходил не столько поболтать, сколько затем, чтобы попросить у коменданта — подполковник спекулировал! — масла или яиц. За это он каждый раз обещал Бибраху очистить его районы от партизан. Вслед за визитом подполковника к Бибраху Маруся Нагога обычно сообщала с вокзала о численности и вооружении прибывающих карательных войск. Оставалось только следить за их передвижением.

Но в мае, хотя подполковник из Чернигова навестил Бибраха, карательные войска на станцию не прибыли. Пометавшись по комендатуре, Николай рискнул закрыться в соседней с Бибрахом комнате, где в тот час Галина Вакуленко печатала на машинке. Ему удалось подслушать, что на этот раз в целях большей секретности каратели высадятся в разных местах.

Но где? Вечером подпольщики собрались у Ольги Горайн. Расходились, как говорил в таких случаях Нелин, «держа уши топориком». Первая весть

о карателях пришла на другой день — от фельдшера Анны Качер. Тоня, ее дочь, разговорилась с племянником районного старосты. Этот парень через день возил фашистам из Киева свежие газеты. Он и рассказал, что на станциях Бобрик и Заворичи разгружаются крупные вражеские части. Но куда они двинутся? Это было еще неясно, и сигнал тревоги подпольщики передали через явочные квартиры в оба отряда. На другой день Крумзик велел Жанне выписать для получения в Кобыжче много продовольствия и много овса для лошадей. Значит, там кроме пехоты сосредоточивается конница, а возможно, и артиллерия на конной тяге. Эти догадки Николая подтвердила учительница-подпольщица из Кобыжчи Надежда Роговец, в тот же день пробравшаяся в Бобровицу. Вместе с ней для разведки ушел в Кобыжчу Нелин. Когда учитель возвратился, Николай уже знал от Нагоги, Голуб и других подпольщиков, что каратели концентрируют силы также в Остре и Козельце, в Козарах и Носовке. Стало ясно: фашисты окружают кобыжчанский и коляжинский лесные массивы, где располагался в основном третий полк соединения «За Родину» под командованием Михаила Дешко.

Пятьдесят две тысячи карателей, конных и пеших, с артиллерией и минометами, танкетками и легкими танками готовились ринуться на партизан. То ночью, то днем, порой не однажды в сутки, Люся, Жанна или Галина поочередно пробирались на явку в доме Ульяны, чтобы передать партизанам последние новости. А шестнадцатого мая, за три дня до выступления карателей, Алексей Никитич сам отнес в отряд составленную вместе с Николаем карту расположения вражеских сил, на словах передал предложения подпольщиков о путях выхода из планируемого кольца.

За три дня партизаны успели заминировать указанные подпольщиками дороги, отвели свой «патронат» — так они называли женщин, стариков и детей, живших при отряде, на остров в центре огромного лесного болота, тайных троп к которому враг знать не мог. Решив, что открытый бой с полчищами карателей грозит слишком тяжкими потерями, партизаны оставили для встречи с врагом только подвижные конные группы. Появляясь то тут, то там, партизанские

конники открывали автоматный и пулеметный огонь по врагу, а потом исчезали в лесу. Фашисты, увлекшись преследованием, наталкивались на мины. Тем временем партизанский полк благополучно отошел в сторону Мрына, чтобы уже через три дня после ухода карателей возвратиться на прежнее место и возвестить о том уничтожении двух вражеских эшелонов с живой силой и техникой.

Фашисты теперь чуть ли не каждого жителя подозревали в связях с партизанами. Ходить из села в село стало крайне опасно. Подпольщикам же почти ежедневно приходилось тайно покидать Бобровицу то с одним, то с другим поручением, призывая на помощь не только мужество, но и изобретательность. Вот что пишет Василий Манзюк:

«После выхода из тюрьмы мне было особенно трудно. Признаюсь, что и сейчас испытываю озноб, когда вспоминаю, как плакал я над Колей в тюрьме, пока он приходил в себя после пыток, как всякий раз тяжело было ходить по вызову в комендатуру, думая, что могу не вернуться, что фашисты пронюхали о моих подпольных делах.

Однажды до работы ко мне забежал Николай и сказал: «Надо срочно скакать в Ярославку, иначе погибнет не только наш связной с отрядом имени Щорса Леонид Товстенко, но и его семья». Я знал, что еще весной жандармерия брала Товстенко под арест. Тогда за неимением улик он был освобожден благодаря хлопотам Николая и Нади. Но в новом доносе от сельского полицейского — его прочитала Надя — говорилось, что если арестовать не только зоотехника, а и его жену с дочерью, то они под пытками могут очень много рассказать о партизанах. Начальник жандармерии написал на доносе резолюцию — арестовать всю семью. Медлить было нельзя.

Стояла чудная пора цветения ржи, но все дороги были безлюдными: жители не выходили уже за пределы своих сел, боясь быть схваченными. Я пошел на хитрость. Под мою диктовку жена от имени заведующего ярославицкой овцефермой написала заявление районному ветврачу (то есть мне) о болезни пяти животных, требуя моего срочного приезда. По этой записке райуправа дала мне санкцию на выезд, а чтобы

зарегистрировать это разрешение и в немецкой комендатуре, я упросил работника райуправы позвонить туда и выхлопотать мне для поездки седло с комендантской конюшни. Вскоре, получив под расписку от какого-то «зондера» седло, я поскакал по прямой дороге на Ярославку, без конца оглядываясь назад, во избежание возможной слежки...»

В общем, долго пришлось бы описывать, чего стоило Василию Манзюку выполнить даже это одно, казалось бы нехитрое, поручение. В ту же ночь Товстенко со всей семьей, уведя даже корову, ушел в отряд имени Щорса. Приехавшие из Бобровицы жандармы нашли хату Товстенко пустой. А Манзюк в эти самые дни успел под другим предлогом съездить и в село Свидовец, после чего предупрежденные об угрозе ареста немедленно ушли к партизанам коммунисты Чернойай, Белодед и еще восемь жителей.

Ежедневный неизбежный риск сопровождал каждого подпольщика. Галина Вакуленко вспоминает:

«Когда я по поручению Николая тайком печатала во время работы листовки, а то и списки коммунистов всего района, которым жандармерия грозила арестом, я тут же для «пожарного случая» держала рядом или отчет маслозавода или другую какую-нибудь бумагу. Но пишущая машинка стояла в комнате рядом с кабинетом Бибраха, и каждая пауза в его хриплом говоре пронимала меня страхом при мысли, что он там встал и сейчас войдет, чтобы посмотреть, чем занимаются подчиненные, что он частенько и делал».

На каждом шагу был и риск непредвиденный — о нем пишет Алексей Нелин:

«Зимой 1942 года фашисты решили прочесать Кобыжчанские леса. Я в то время лежал в больнице. Ко мне подошла врач Тамара Александровна Сколковская и рассказала мне все, что просила передать о предстоящей облаве ее сестра Наталья Литвиненко. Через связных и явочную квартиру Ульяны в отряд «За Родину» уже отправили необходимое предупреждение. Облава готовилась очень серьезная, и я сам немедленно отправился в отряд. Но, оказалось, что уже поздно. Стоило мне зайти в лес всего километра на два, как я услышал урчание моторов, выстрелы и лай собак... Я вынужден был свернуть с дороги.

И только стал переходить небольшое, но глубокое болото, заросшее ольшаником, как совсем близко услышал немецкую речь. Я мгновенно упал там, где стоял. Была оттепель, и лед над болотом покрывала вода. Я скоро почувствовал, что весь промок. К счастью, фашисты меня не заметили. Когда все вокруг стихло, я поднялся и побрел в Кобыжчу».

Наши войска наступали. Через Бобровицу проходили с фронта деморализованные вражеские части. Сами «картофельные офицеры» уже сидели на чемоданах, следили за тем, чтобы на случай внезапного бегства всегда был солидный запас свежего продовольствия. С приближением фронта все яростнее и злее становились походы карателей против партизан и, значит, как никогда раньше, возрастала роль бобровицкого подполья.

Поэтому Николай при встрече с командирами партизанских отрядов твердо сказал:

— С нами пока все в порядке. Не беспокойтесь.

А докладывая обстановку, он особо подчеркнул злобный характер так называемой «ортскомендатуры». Фашисты этой комендатуры, одетые в полевую форму, усилили охрану «собачника», по-фронтовому окопались, но больше, кажется, ничего не предпринимали. Только гитлеровцы просто так никого не кормят. Зачем прибыли эти вояки? Решили попытаться и среди них найти своего человека.

Николаю сначала вроде бы повезло. Он узнал, что среди прибывших — двое русских. С одним сразу познакомился в надежде склонить солдата на свою сторону. Тот охотно выслушал Николая, но, видимо, не полагаясь на переводчика Бибраха, в ту же ночь из комендатуры сбежал. Переводчица жандармерии Надя Голуб познакомилась с другим русским из «ортскомендатуры» — Соловьевым, он командовал отделением. Наде и поручено было завоевать его доверие.

В тот же вечер Николай уехал в Щастновку, на встречу с партизанами. В Бобровице же были подняты на ноги все полицейские и жандармы: искали этого самого Соловьева, якобы сбежавшего из «ортскомендатуры». И, как выяснилось потом, искали везде, кроме хаты подпольщика Василия Моисеенко, где Соловьев находился.

Пока осторожная Надя Голуб искала подступы к Соловьеву, тот, оказавшийся провокатором, сам втерся в доверие к паспортисту Василию Моисеенко и попросил переправить его к партизанам. Василий без ведома друзей-подпольщиков приютил предателя на ночь у себя дома, а уходя на службу, отдал ему свой пистолет, предупредив, что еще день, пока он найдет связных, Соловьеву придется ждать. Но Соловьев не ждал и часа — с пистолетом Василия, как с вещественной уликой, немедленно побежал в «ортскомендатуру».

Когда Николай возвратился в Бобровицу, Моисеенко уже схватили и вместе с предателем отправили в Нежин. Жена Василия, Проня, уехавшая вслед за ними, вскоре сообщила Николаю, что мужа зверски пытаются, но что он пока держится. Все верили, что он будет держаться до конца: Василий был достаточно испытан подпольщиками в совместных делах. Но уже через день, в воскресенье, Проня, возвратясь из Нежина, отыскала Николая и расплакалась:

— Он передал: «Пусть уходят все!» Бьют его страшно! Но главное, при обыске нашли вашу совместную фотографию. Он говорит, что арестуют и тебя, и всех, кто дружил с тобой...

Это был провал.

В тот же день Николай созвал товарищей в дом Ольги Гораин. Взвесив все, решили, что из переводчиков оставаться в Бобровице и продолжать работу могут только Надя Голуб и Галя Вакуленко. Остальным надо уходить к партизанам.

И они ушли немедленно. Трое, включая Жанну и Люсю, — в отряд «За Родину». А Нелин с Николаем, предупредив по пути о своем уходе Нину Фуртак, — к Александру Кривцу в отряд имени Щорса.

Вот что пишет о последующих днях Галина Вакуленко:

«На другой день после бессонной ночи я, стараясь подавить волнение, пошла на работу и с «усердием» засела за письменный перевод. Бибрах прошел мимо, скорчив гримасу, показал мне, как я исподлобья на него смотрю — явный признак, что у коменданта хорошее настроение. Стали приходиться посетители — Бибраху потребовался переводчик. Вскоре он заглянул

ко мне уже раздраженным: «Во ист Николаус?» Я как можно спокойнее ответила, что он, вероятно, проспал. Посыльный вернулся, конечно, ни с чем. А около десяти часов утра к нам влетел взъерошенный Крумзик: «Во ист Иоганна?» Я ответила: «Не знаю». Он прошел к Бибраху, и тут же начался обыск стола, за которым работал Николай. А вскоре нагрянули жандармы из Нежина. На допрос вызывали по очереди всех служащих комендатуры — прямо во время работы. Меня долго расспрашивали о том, куда могли уйти переводчики. Для меня разговор был тяжелым, я боялась запутаться, а потому твердила в основном одно: «Не знаю». А потом нагрянули и эсэсовцы из Чернигова. Они собрали все население, обещали громадное вознаграждение тем, кто укажет, где беглецы и где прячутся партизаны, за укрывательство грозили всеми смертными карами. Но никто им ничего не сказал.

А Нина Фуртак вспоминает:

«Когда на другой день после ухода Николая и Нелина к нам в хату пожаловали немецкий солдат и полицай, я сразу поняла, что пришли за мной. Меня привели в «собачник». Жандармы из Нежина спросили меня: «Где Нелин?» Я ответила вопросом: «Почему я должна об этом знать?» Мне объявили тогда, что Нелин — мой жених. Оказалось, что соседка Алексея Никитича по новому его жилью видела, что я часто к учителю заходила. Эта сплетня оказалась кстати. Я подтвердила, что заходила к Нелину по его просьбе, он заговаривал со мной о свадьбе, но я отказалась, считая его для себя слишком старым. Спрашивали, видела ли я у Нелина Николая. Отвечала отрицательно. А потом мне подумалось, что пропала. Мне показали мою маленькую, типа паспортной, фотографию и сообщили, что нашли ее в кармане убитого ночью партизана. И действительно, один из связных, Михаил Подлесный, как-то, будучи у нас на дневке, взял эту карточку без моего разрешения. Я могла сказать немцам только одно, что еще в школе у ребят была дурная привычка воровать девчоночьи фотографии, но кому принадлежит эта, мне неизвестно.

Допрашивали меня за день трижды и задавали одни и те же вопросы, цепляясь за каждое новое слово. К счастью, меня не били. Не знаю, выдержала ли

бы я побои: очень боялась оказаться в беспамятстве и проговориться. Жандармы меня продержали целые сутки. Душила тревога и бессильная злоба: ведь они допрашивали меня как преступницу в нашем бывшем десятом классе! На другой день меня выпустили, взяв слово сообщить о Нелине и переводчиках, если что-нибудь узнаю. Я долго не могла поверить в свою свободу. Часто видела у своего дома полицейских. Они следили за нашей хатой, не зная, что у меня тоже был свой наблюдательный пункт — на верхушке старого дерева, куда я в детстве любила забираться и читать книги. Партизаны с неделю, пока была засада, не являлись, потом все пошло по-прежнему.

Бибрах, ища способ хотя бы отчасти оправдать себя в глазах начальства, однажды долго просидел в кабинете начальника жандармерии. Бибрах предложил пока никого не трогать, но установить усиленную слежку за семьей Муравьева, директора сахарного завода.

С директором, его супругой и дочерью жили тогда родственники его жены — сестра, московская балерина Андреева, ее дети и восьмидесятилетняя мать. Семья располагала в округе давними, широкими связями, сам директор бывал в частых поездках, и Бибрах не без оснований рассчитывал с помощью слежки вскрыть все, идущие из Бобровицы, связи с партизанами.

Но Бибрах не знал, что его план не остался секретом для Нади Голуб. Она сумела выведать, зачем приходил к ее начальнику сам комендант, предупредила о грозящей опасности как Муравьева, так и отряд «За Родину», с которым директор был постоянно связан.

Бибрах назначил дочь Муравьева Таню своей постоянной переводчицей, предложил ее отцу переехать с окраины в центр, в покинутый дом.

Предложение было принято с признательностью. Наметили день, когда за вещами придут машины. Накануне этого дня Бибрах, побывав еще раз у директора, увидел вещи упакованными. Но когда машины прибыли за вещами, самих Муравьевых не оказалось. Всю семью — даже бабушку — ночью вывезли в лес партизаны!

Спасение Муравьевых стало одним из последних подпольных действий Нади Голуб. Уполномоченный ЦК партии Яков Овдиенко решил, что дальше оставаться ей в жандармерии опасно. Руководство отряда имени Щорса направило Николая в Бобровицу, чтобы подготовить уход Нади в отряд. Николай ночью пробрался в дом Ольги Горанин, куда вызвал Надю. Договорились, что партизаны «выкрадут» ее из дома родителей в Озерянах как немецкую прислужницу. Тогда есть надежда, что фашисты пощадят ее мать и отца.

Все, что предшествовало этой операции, Николай помнит отлично:

«В партизанском отряде имени Щорса я стал разведчиком. Почти каждый день я уезжал из леса на лошади, чаще всего в одиночку. Дороги в районе я знал хорошо — наездился с Бибрахом! У меня были надежные явки во многих селах, но основной стал дом родителей Нади в Озерянах. Туда я приезжал каждую субботу, отпускал в табун коня и, спрятав седло и уздечку, делал дневку — спал на сеновале. В воскресенье утром приезжала на выходной Надя и передавала мне все, что успела узнать. Вечером я уезжал в отряд, а она — в жандармерию.

Справедливо опасаясь за судьбу родителей, Надя откладывала свой уход в лес до тех пор, пока и сама не забила тревогу, почувствовав угрозу разоблачения. Тогда окончательно отряд утвердил день ее «захвата» в доме родителей — это была суббота, восьмое августа. Я снова выехал в Бобровицу, чтобы предупредить Надю. Была и другая причина для поездки: скопление в Бобровице отступающих фашистских частей — они нас интересовали.

К вечеру пятого августа я был на окраине Бобровицы и, оставив коня у Нины Фуртак, снова пробрался в центр, к Ольге Горанин. К ней в хату пришел на другой вечер из отряда за сведениями о передвижении врагов связной Михаил Подлесный. Он пробыл со мной весь следующий день, пока девушки — Нина, Оля и Галя — ходили по улицам, уточняя численность отступающих врагов.

Вечером, предупредив Надю о назначенной дате, я тоже собрался уходить, как вдруг возвратилась Га-

лина и сообщила по просьбе фельдшера Анны Качер, что на чердаке дома ее сестры Ольги Шишевской прячется беглый капрал и просит отправить его в партизанский отряд. За его искренность Качер и ее сестра ручались. Соблазн привести в отряд нового бойца был велик — я отправился за капралом.

Как на грех светила луна, а мне предстояло переправиться через реку. Но как? Мосты, я знал, тщательно охранялись. Я был бы задержан, несмотря на немецкую форму, в которой тогда щеголял. Зная, что у одного старика есть лодка, я уже в третьем часу ночи постучался к нему, но он, узнав меня через окно, испугался и даже не открыл дверь. Пришлось рисковать, идти через кладку — пешеходные мостки, ярко освещенные луной. Поставив автомат на боевой взвод, я умышленно пошел не спеша, по-хозяйски. Может, тем и сбил с толку заметивших меня полицейских. Они на всякий случай открыли стрельбу уже после того, как я скрылся в темной от высоких деревьев улице...»

На чердаке дома Ольги Шишевской Николай наткнулся в темноте на огромного мужчину. Незнакомец сразу зажег фонарик, но осветил не Николая, а себя и спросил довольно чисто по-русски:

— Мне сдать оружие?

Николай взгляделся в его открытое лицо и опустил автомат:

— Не надо. В отряде тебе пригодится.

Они вместе провели на чердаке остаток ночи и весь следующий день. Дмитро Стрэнч оказался сербом, знал шесть языков, включая украинский и русский. Сначала он был призван в немецкую армию, но дезертировал, а теперь бежал снова, чтобы драться с фашистами на стороне партизан. Он отважно сражался в отряде Кривца, серб Дмитро Стрэнч, благополучно добравшийся до партизан вместе с Николаем. Они и жили с Печенкиным в одном шалаше, поставив рядом «курень» для Нади. Вместе с «выкравшими» ее партизанами они встретили Надю на одном хуторе еще в ту субботнюю ночь, когда пробирались из Бобровицы в отряд. Партизаны и постреляли по окнам Надиного дома, и, как просили ее родители, связали их, наставили им синяков. Не учли лишь одного — Надя не устояла перед тем, чтобы забрать из дому все свои на-

ряды. Это, когда жандармы обыскали дом, сразу их насторожило. Надина мама не выдержала угроз и скончалась: у нее было больное сердце.

В знакомую нам «Боевую характеристику» младшего лейтенанта Печенкина Александр Кривец записал:

«Пробыв в отряде имени Щорса до освобождения района, показал себя опытным и смелым разведчиком, принимал активное участие во всех боевых диверсионных операциях по разгрому немецких гарнизонов. Особенную роль товарищ Печенкин сыграл при разгроме немецкого гарнизона в местечке Згуровка Полтавской области, где он умело выполнял роль немецкого офицера».

Да, и Николай, и его товарищи безоглядно отдались партизанской борьбе. Из отряда «За Родину» и Жанне с Люсей не раз приходилось ходить в разведку в Бобровицу, где их легко мог узнать любой полицейский. А Николай в этом городе встретил день освобождения.

Накануне Печенкина, Петра Рябуху, Михаила Булынина и еще троих бойцов послали в Бобровицу вывести из строя хлебопекарню и маслозавод, заминировать пути отступления фашистов на Киев. Задание партизаны выполнили, но в отряд вернуться не успели: за Бобровицу уже развернулись бои. Центр села вспыхнул, немцы подожгли все здания, где жили два года. Галина Вакуленко пишет:

«К эвакуации гитлеровцы готовились давно. В день их бегства я пряталась в погребе у Анны Федоровны Качер. Улицы были безлюдны, люди с ужасом ждали, что будет — знали уже, что немцы, отступая, все сжигают. Мама с помощью санитарки, а потом и одна успела перенести из аптеки домой медикаменты, аптечное оборудование, перевязочный материал. Последнюю ходку делала, когда кругом уже шныряли отступающие фашисты. Потом, когда нас освободили, комиссия взяла на учет спасенное имущество, и аптека смогла без пополнения медикаментами проработать около трех месяцев.

В большом погребе нас с детьми было около двадцати человек. Ночью к нам ворвались два немца с пистолетами, но мы при свете копилки представляли,

наверно, очень жалкое зрелище, да и воздух у нас был настолько спертым, что они тотчас выскочили обратно. Когда под утро бой стих, мы вышли на улицу. Увидев родные серые шинели, заплакали и рассмеялись сквозь слезы, когда какой-то наш солдат, проходя мимо, весело спросил: «Девчата, тещу мою не видали? В бою потерял...»»

Казалось, и солнце над Бобровицей поднялось в то утро другое.

Возвращалась жизнь.

Но еще немало мужества, стойкости, зрелости потребует она от недавних подпольщиков. Пусть они сами с присущей им простотой и искренностью помогут завершить повествование.

Рассказывает Кузьмичева-Мартиашвили:

«Когда части Красной Армии вошли в наш лес, мы, партизаны соединения «За Родину», встретили бойцов так, как встречают родных братьев. Позади были два долгих года оккупации. Нас окружали бойцы, а мы все спрашивали, спрашивали и спрашивали. А потом звучали песни под баян, и я впервые услышала «Землянку» и «Темную ночь». Все это незабываемо!»

Да, этих долгожданных дней никому из них не забыть! Но сразу начались и новые испытания,— война-то продолжалась!

«Руководство отряда объявило нам, что мы свободны и можем расходиться,— вспоминает Ленина Кузьмичева.— Но куда? Все мужчины призывного возраста тут же влились в части Красной Армии. А мы с Жанной? Куда идти нам, если Киев еще у немцев, а в Бобровице после фронта такая нужда и разруха, что кормиться за счет других нельзя, а у нас ни единой копейки советских денег?..

Вышли мы из леса в чем были. На мне — немецкие солдатские сапоги из кирзы с широченными голенищами, размером не меньше сорок третьего, подбитые железными шипами. Чулок не было. Откуда им взяться? И коротенькое, выше колен, красненькое летнее пальтишко, сшитое по последней моде довоенного года — макинтошиком. Я была совсем больная. Все тело мое покрылось какими-то нарывами. Попрошайничая в селах, добрались мы с Жанной до Нежина, а это уже город. Тут и с ночевкой трудней, и насчет того,

чтобы покушать. С солдатом любой поделится, а мы по виду были бродяжки, у нас не было никаких документов, а просить мы стеснялись. Ночевали мы в полуразрушенной школе, коченя от холода. Там решили идти в армию, хотя очень хотелось сначала побывать в Киеве. Жанна так и ушла воевать, не повидав мать с сестрой, а меня не взяли: к этому времени я совсем разболелась.

Боясь слечь у чужих людей, я вспомнила, что в Львовском районе Курской области есть село Кочетно, где жила родная папина сестра Мария Семеновна Панкова со своей семьей. В самой деревне я была пятилетней и ничего не помнила, а вот тетю знала и очень любила: она часто гостила у нас в Киеве.

На железной дороге — разруха: только прошел фронт. Пассажирских поездов еще нет, а в товарные не пускают. И все-таки я устроилась в тамбуре товарняка. Каким образом я оказалась потом в служебном вагоне, сразу за паровозом, — не знаю. Очнулась — лежу на полке, а мне подносят лекарства. Я слышу, что хотят сдать меня в больницу, и замираю от ужаса, что так и не попаду к своим, и мама никогда не узнает, куда я подевалась.

Умоляю высадить меня на станции Льгов, убеждаю, что там я почти дома.

И вот, открываю я дверь, а у русской печи хлопочет родная моя тетя Маня, поворачивает ко мне голову, но меня не узнает!

— Тетя Манечка, это же я, Люся, из Киева...

И все! Я уже в ее объятьях. Я так и не поняла, что же все-таки со мной было. В деревне стояла на отдыхе воинская часть и врачи сразу оказали помощь. А тетя к тому же лечила меня отваром из трав. Вылечили!

В ноябре освободили Киев, и я сразу загорелась: домой! Не стала ждать, когда придет от мамы ответ на наши письма, и двинулась в обратный путь. Снова ехала товарным составом, но уже не в тамбуре, а в нормальной теплушке с железной печкой посередине. Народ — самый разношерстный. Тут же обменяла немецкие сапоги на наши. По дороге сообразила заехать в Бобровицу и прихватить хоть какой-нибудь документ. К счастью, в Бобровице еще был наш Коля, — уже не Ремов, а Печенкин! Он работал секретарем

райисполкома. Коля написал мне характеристику — первый документ в моей жизни.

И наконец-то Киев! С замиранием сердца бегу на свою улицу Саксаганского к дому номер двадцать восемь, а большого пятиэтажного дома — нет и в помине! Одна обгоревшая стена с выбитыми окнами. В таком же состоянии и все остальные дома до самой Красноармейской улицы.

А мама? Что с ней? Где теперь искать ее? У кого спросить, если нет ни дома, ни соседей? Бегу на другую, родную мне с детства улицу — Большую Житомирскую, в дом номер двадцать, к нашей родственнице Анне Николаевне Еременко. Звоню и не дышу: кто откроет? Что скажут?

А дверь открыла моя мамочка! Такая измученная, такая истрадававшаяся, что в глазах промелькнуло не счастье от нашей встречи, а какой-то немой упрек: ведь я могла не вернуться и осиротить ее навсегда.

Мы начали новую жизнь так, как в то время ее начинали многие люди».

А подруга Люси по подполью Жанна Соколова во фронтовой землянке дописывала в это время свое первое письмо в освобожденный Киев. На фронт Жанна ушла вместе с Татьяной Муравьевой. «Нас взяли в запасной полк, — вспомнит Жанна, — немного обучили телефонистскому делу и направили на Первый Украинский фронт. Мы тянули нитку от КП до передовой, чинили разрывы от снарядов или сделанные бандеровцами. Нитку тянуть было тяжело: бухта шестьдесят килограммов, а ты в нее впрягаешься и тащишь напрямик. Я, наверное, была больна, потому что очень уставала и кашляла. И очень боялась. В подполье и в партизанском отряде, когда не надеялась, что останусь жива, не боялась, как будто закаменела. А тут, узнав, что мама и Аза живы, сама очень захотела жить. Поэтому боялась бомбежек, обстрела, выходить ночью на линию. Обычно мы сидели на точках, через три километра каждая. Если на линии разрыв — вставай и иди. Один раз уходит напарник, второй раз — ты. Ночью было страшно. Метель, пурга, в поле лежат убитые. Но идешь — делать нечего.

Особенно трудно нам пришлось при наступлении под Бродами. Бандеровцы порезали нашу нитку на

мелкие куски и все разбросали. Мы вышли с напарником оба. Связывали разорванные куски, а провода не хватало. Соединяли кое-где и колючей проволокой. Зачищая провод, присядешь на замерзший труп от усталости, а то прычешься за ним — не так страшно. Но связь мы дали, и ровно в четыре часа началось наше наступление. Меня тогда наградили орденом Красной Звезды, а моего напарника — медалью.

Но я уже была тяжело больна. Особенно плохо мне стало весной. Отправили в госпиталь, а там нашли туберкулез легких со здоровенными кавернами. Пришлось демобилизоваться».

Жанна вскоре поступила учиться. Как и Лени́на Кузьмичева, которая за четыре месяца штурмом одолела курс девятого и десятого классов, экстерном сдала экзамены на аттестат зрелости и поступила в университет. А Галя Вакуленко поселилась на первое время учения у Жанны, вместе с ней встретила тот долгожданный день, который в письме маме описала так:

«Поздравляю тебя с Победой, желаю счастья, здоровья и крепко-крепко целую тебя, моя любимая, незаменимая «Плюшкинша»! В ночь, когда передавали сообщение, я сидела над известной и тебе термодинамикой, когда вдруг слышу, говорят: радио будет работать до трех часов ночи. Я сразу насторожилась, потом разбудила Жанну, и мы вместе слушали сообщение о капитуляции Германии. Потом целую ночь играли советские марши.

Никогда не забыть мне Киев девятого мая и торжество народа. Я, конечно, рада, как и все, что война окончилась, но у меня в эти дни бывают и очень мрачные мысли. Сегодня в мастерской чуть не разревелась. Все думаю: почему же Ульяна и другие наши товарищи не дожили до этого дня? Как бы мы вместе радовались!»

Они все выучатся — подруги по подполью, преодолеют и послевоенные трудности. И к ним ко всем относятся слова, что написала Жанна о себе:

«Справляться с трудностями стало легче, потому что вновь стали действовать мои «светофоры». Я и раньше понимала, что нужно учиться, поступила в университет. Здесь дали стипендию, сначала повышен-

ную, потом персональную. Училась отлично — давали карточки, одежду, путевки, помогали, как могли. Здесь моя заслуга только одна — я считаю ее даже своей внутренней победой, неизвестной и, может быть, непонятной другим, но тем не менее очень важной для меня. Будучи совершенно больной, я жила как здоровый человек, на пределе своих сил и способностей. Много и с интересом работала, читала, слушала музыку, любила искусство, в общем, не давала себе спуска».

Чуть позже станет студенткой и Оля Гораин, которая вместе с учителем Нелиным, механиком Петром Рябухой, фельдшером Анной Качер налаживала после освобождения новую жизнь Бобровицы.

Ольга написала мне:

«Сразу после ухода фашистов меня назначили заведующей клубом, который сохранился на сахарном заводе. У нас ничего не было. Приходилось собирать по людям, у кого что найдется — и бутафорию, и костюмы. Потом меня утвердили председателем районного комитета физкультуры и спорта. Снова такие же трудности — ничего нет: ни спортивного инвентаря, ни формы, ни стадиона. Но общими усилиями выходили из любого положения. Создали свой спортколлектив. Хотя на спорт в то время не очень обращали внимание, — были дела посложнее, но мы провели районную спартакиаду, потом уехали на областную в Чернигов, а оттуда и на Всеукраинскую — в Киев. Там мои ребята почувствовали сразу заботу о себе. Им выдали бутсы, а то в футбол играли босыми; выдали форму, по две пары. Ребята были довольны и тем, что десять дней питались сытно, по четыре раза в день, и Киев посмотрели. А меня после спартакиады рекомендовали на учебу в физкультурный институт».

Они и сейчас живут и трудятся в Бобровице — Петр Рябуха, Ольга Гораин и Анна Качер, Алексей Нелин и Василий Манзюк.

В Новгороде-Северском учительствует Мария Нагога, а Надя Голуб в этом же городе двадцать лет подряд избирается народным судьей. Но и все те из бывших подпольщиков, кто ныне живет далеко от Бобровицы — и Лейна Мартиашвили из Тбилиси, и киевлянки Галина Вакуленко и Евгения Гольнская, и Нина Басюк из Тернопольской области, навсегда при-

вязаны к этому скромному городку, где оставили свою тревожную юность. Навсегда он дорог детям и внукам погибших подпольщиков. В Бобровице часто гостят сыновья Василия Моисеенко, дети Федора Будника, внуки Сколковской и Литвиненко.

А Николай?..

Печенкину, когда он как младший лейтенант явился в особый отдел дивизии, освободившей Бобровицу, порекомендовали остаться в городе и помочь восстанавливать Советскую власть. Обком партии утвердил Николая секретарем Бобровицкого райисполкома. Вот только тогда жители и узнали настоящую фамилию переводчика. Он снова подписывался Печенкиным, но еще долго не мог привыкнуть к своей фамилии. Он вспоминает:

«Райисполком ненадолго отпустил меня домой на побывку.

Дорога Киев — Москва тогда еще не работала. Путь был длинным — через Харьков. И вот наконец военная Москва. Там я на два дня остановился у родственника Муравьевых. В партизанской шинели, с «вальтером» на боку ходил по улицам, дышал воздухом родной столицы, с крыши семиэтажного дома впервые увидел салют в честь очередной победы нашей армии.

К Коломне подъезжал в темноте. Когда пошли знакомые пригородные остановки, захотелось выскочить из вагона — таким медленным показался вдруг поезд! И вот наш двор... На калитке та же проволочка, которую я приделал к запору еще до войны, чтобы по ночам открывать его самому, не тревожа родителей».

Возвратившись в Бобровицу, Печенкин ушел в армию — его восстановили в воинском звании. Но на фронт из-за подорванного здоровья — «гестапо позаботилось!» — Печенкин не попал, дослуживал в Апостоловском райвоенкомате Днепропетровской области.

Сразу после освобождения Печенкин, Нелин, Николай Рябуха, как руководители подпольщиков, написали подробный отчет, а потом все разъехались, кто на фронт, кто учиться. И об отчете не вспоминали. А когда заинтересовались историей бобровицкого подполья, то больше всего жители рассказывали о Кольке-переводчике. Пошли гулять о Печенкине были и небы-

лицы. Так и нашла его, и то лишь через четыре года после победы, медаль «Партизану Великой Отечественной войны», которую он справедливо считает не только своей, но и медалью «на всех» — на всех бобровицких подпольщиков.

Ныне странно держать в руках «Форлейфигерперсональаусвайс» — временный паспорт, выданный фашистами Ремову в годы войны. В нем подробно описывается его владелец. Но одна из граф не заполнена: «Особые приметы». Не нашли их гитлеровцы у Печенкина. Я и сам, как ни старался, не могу найти их в своем школьном товарище. Но думаю, в том-то и суть, что, ничем особенным не выделяясь из общего круга, Николай, как и его боевые друзья, бобровицкие подпольщики, впитал все лучшие приметы тех, кто беззаветно верен великой правде Октября, кто сохранил ее в невиданных испытаниях войны. Те, внешне неразличимые приметы, которые, однако, ярко проявляются в делах и буднях, передаются другим поколениям. И ко всем боевым друзьям Николая может быть обращено письмо, полученное им от своего ученика, а ныне московского инженера Валерия Соловьева:

«Здравствуйте, дорогой Николай Алексеевич! Простите, что вместо официального «глубокоуважаемый» пишу «дорогой» — это, очевидно, потому, что Вы для всех своих учеников были и остались именно дорогим и уж, конечно, очень уважаемым человеком.

Вспоминая школу, вспоминаешь прежде всего не тех, кто учил тебя только уму-разуму, а тех, кто был горячо любим, кто, не жалея себя, ломал в нас гнилое, счищал «шелуху», заставлял думать, учил жить по-настоящему. Я не хотел бы говорить «прописное», я высказываю Вам лишь одно, смысл чего я, да и не только я, именно теперь, в зрелом возрасте, отчетливо осознаю: как много доброго, нужного, серьезного отдавали, дарили Вы нам!..

Быть может, это и субъективно, но мне кажется, что все мы, почти все, вольно или невольно, осознанно или не сознательно впитывали по крупицам житейскую мудрость взрослых. Такого предмета нет в школе, но если учитель не только объясняет и спрашивает

урок, а еще и самим собой, своим характером, поведением, манерами и даже жестами сможет вызвать желание учеников видеть, слушать его, то ученики станут подражать ему. Обязательно! Хорошее действует приятно, я не признаю поговорку, что «плохое липнет крепче». Дети любят сильных, красивых, справедливых. Вы не слишком наделены физическими данными, красивым Вас назвать тоже нельзя. Первая встреча с Вами оставила «кислое» впечатление, но прошло самое короткое время, и Вы, может, и не зная того, завоевали наши сердца. Внутреннюю силу в Вас мы почувствовали сразу. А когда в минуту откровения (23-го февраля) Вы рассказали нам немного о себе и о войне, глубокое уважение к Вам было нашей благодарностью. Сожалели и восхищались одновременно. Сожалели, что скромность Ваша лишь приоткрыла Вашу жизненную книгу. Хотелось узнать побольше, но любопытства нашего Вы не удовлетворили.

Представьте, что чувствуют дети, когда видят героя не в кино, не мечтают о нем, а сидят с ним в одном классе и он их учитель?! Он обычный, с виду незаметный человек, а?! Нас не разочаровало, что такой внешне незаметный, как Вы, может стать героем, нас поразило, что это так... Теперь я очень хочу, чтобы моему сыну Борису встретился точно такой же «немец» или «англичанин», как Вы!»

«Особые приметы» Николая и его товарищей по подполью, людей честных и талантливых, гордых и скромных, земных и окрыленных передовыми идеями века,— приметы и всего нашего советского строя жизни. Того непобедимого строя, который, раскрывая и развивая душевные богатства людей, делает и человека непобедимым — даже в самых суровых испытаниях. Ведь победа над фашизмом пришла не только как результат нашего превосходства в оружии и боевой мощи войск. Это еще и всенародная победа, выросшая из миллионов человеческих сердец, умов и волей, победа людей, беспредельно преданных своей земле и своим прекрасным идеалам.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕГЕНДЫ И ВРЕМЯ (Вместо предисловия)	5
ПАПИНА ДОЧКА	25
ОПОЗДАВШЕЕ ФОТО	39
СТАРИННЫЙ ЛАРЕЦ	55
ДВЕ СЕСТРЫ	68
НА ДРЕВНЕМ ХОЛМЕ	81
РОЖДЕНИЕ РЕМОВА	89
ДНЕВНИК НИНЫ ФУРТАК	111
«МЫ УМРЕМ, А РОДИНА ВЫСТОИТ»	125
СМЕШЛИВАЯ ДЕВЧОНКА	161
В ГЕСТАПО	173
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ	186

**ГУСЬКОВ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**

**ОДНА
СОЛДАТСКАЯ
МЕДАЛЬ**

Заведующая редакцией
А. Т. ШАПОВАЛОВА

Редактор
Р. В. КОРОЛЕНКО

Младший редактор
Н. М. ЖИЛИНА

Художник
В. В. ФЕДОРОВ

Художественный редактор
В. И. ТЕРЕЩЕНКО

Технический редактор
Л. А. ДАНИЛОЧКИНА

Сдано в набор 20 марта 1975 г. Подпи-
сано в печать 20 июня 1975 г. Формат
84 × 108^{1/32}. Бумага типографская № 1.
Условн. печ. л. 11,34. Учетно-изд. л.
10,90. Тираж 200 тыс. экз. А 11253. За-
каз № 4393. Цена 45 коп.

Политиздат, 125811, ГСП,
Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

45 коп.



